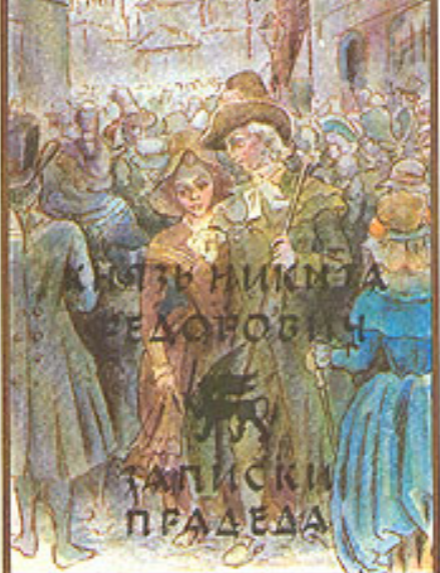


М. Н. Волковский

Сочинения в четырех томах



ТАЛЕ НИКОЛА
РЕДРОБИЧ



ТАПИСКИ
ПРАДЕДА

Михаил Николаевич Волконский

Записки прадеда

В первый том Собрания сочинений некогда известного, а ныне практически забытого драматурга и беллетриста М.Н.Волконского (1860-1917) включены исторические романы.

"Князь Никита Федорович" повествует о судьбе одного из предков автора. Действие романа происходит в тот период, когда Анна Иоанновна - вначале герцогиня Курляндская - становится российской императрицей.

Сюжет романа "Записки прадеда" разворачивается в самом конце царствования Екатерины II, а повествует роман о судьбе молодого человека, втянутого в водоворот дворцовых интриг и других невероятных происшествий.

Содержание

Предисловие	0006
I Молодой Орленев	0009
1	0009
2	0014
3	0018
4	0023
II Сила тайны слова	0028
1	0028
2	0032
3	0038
4	0041
III «Она»	0047
1	0047
2	0052
3	0059
IV Человек, сидящий на камне	0063
1	0063
2	0069
V Потемкин	0080
1	0080
2	0085
3	0090
VI Два пути	0095
1	0095
2	0101

3	0108
4	0116
VII Победная колесница	0122
1	0122
2	0129
3	0140
VIII На весах счастья	0146
1	0146
2	0150
3	0158
4	0167
IX Светильник	0173
1	0173
2	0178
3	0183
X Сфинкс	0192
1	0192
2	0199
3	0203
XI Лев	0210
1	0210
2	0217
3	0224
XII Повешенный	0230
1	0230
2	0236
3	0242
XIII Смерть	0249

1	0249
2	0254
3	0258
XIV Повесть Гирли	0267
1	0267
2	0271
XV Демон	0284
1	0284
2	0290
3	0293
XVI Сон	0298
1	0298
2	0301
XVII Восьмиугольная звезда	0308
1	0308
2	0314
XVIII Сомнение	0322
1	0322
2	0326
XIX Истина	0330
1	0330
2	0335
3	0338
XX Отчего был счастлив Гирли	0341
XXI Заключение	0346

Предисловие

Изучать XVIII столетие, в особенности конец его, и оставлять без внимания ту несомненную склонность к мистическому и таинственному, которая служит одной из характерных черт этого времени, так же невозможно, как писать картину без фона. Волей-неволей приходится считаться с этим явлением, когда есть несомненные данные, что даже такие люди, как светлейший князь Тавриды — Потемкин, были вовсе не чужды влияниям мистического течения.

Зная, что меня интересует эта сторона жизни прошлого века, один из приятелей моих доставил мне найденные им у себя в деревне записки своего прадеда.

Рукопись оказалась не лишенной интереса и очень характерной и послужила содержанием предлагаемой повести, расположение которой по главам вполне соответствует первоначальному источнику. Изменено лишь изложение, сделанное более удобочитаемым слогом, придана литературная обработка и взяты вместо подлинных вымышленные име-

на и фамилии некоторых действующих лиц.

На рукописи сделаны довольно искусно пером два рисунка, иллюминированные красками. Один, на заглавном листе, изображает человека в белой длинной одежде с обручем на голове. Левой рукой он показывает на землю, а правую, в которой держит жезл, — поднял. Пред ним куб с лежащими на нем чашей, мечом и диском. На другом рисунке, помещенном в конце, — слепой с полным мешком за плечами плетется ощупью, не видя, что пред ним на поверженном обелиске разинул на него пасть огромный крокодил.

«История сия, — говорит автор записки в своем предисловии, — вполне правдива, ибо имеет предметом своим не праздный вымысел, но правду истинную. Уразумением ее да просветит свой разум мудрый, а глупец, видящий в чтении лишь препровождение времени, пусть скажет: «Сие не токмо произойти не могло, но даже и невероятно!» Смущаться ли мнением неразумных, коих удел есть верхоглядство и мракобесие!

Но прочесть с пользой желающий в смысл изложения таковой пусть вникает и по трез-

вом размышлении истину от лжи отличит, ибо истина мудрому сама по себе понятна станет.

Для сего единственным пособием собственный разум и чистота сердца послужат. Неразумному, сколько ни толкуй, все темно, непонятно и сомнительно будет, а мудрый в том самом свет обрящет, от чего у глупого глаза слепнут, ибо свет для глупого тьмы горше!»

Молодой Орленев

1

У веселого, симпатичного всем Кирюши Доронина, жившего в родительском доме на отдельной квартире на холостом положении, собрались приятели.

Низкая, прокуренная комната полна была народа. В табачном дыму краснело пламя догоревших почти до подсвечников свечей, и обитые расписанным красками полотном стены сливались, теряясь в одном общем, неопределенном тумане.

У покрытого зеленым сукном стола столпились игравшие. Там то притихали, когда наступала минута ожидания, кому сдаваемые карты покажут выигрыш, то слышались восклицания, отрывочные и неясные, иногда даже слишком — словно выкинули что — громкие, и снова согнутые спины игроков сжимались теснее, и наступала тишина, в которой раздавался приятный и знакомый всем при-

сутствовавшим шелест колоды.

Был тот час пьяной игорной ночи, когда бывшие в обороте деньги распределились уже и понемногу спрятались у прибравших свой выигрыш. Игра перешла на мелок.

Несколько человек, и между ними один, на вид старше всех остальных, отделившись в сторонку, сидели на угольном закаминном диване с длинными французскими трубками и пили вино, не беспокоясь тем, когда проливали и плескали чокаясь.

Посредине на круглом, покрытом залитой вином скатертью столе стояли объедки холодного ужина и бутылки, раскупоренные, выпитые и наполовину еще полные. Те, которым не везло у игрального стола, отходили, брались за стаканы, подходили якобы послушать, о чем говорят на диване, но снова быстро поворачивались и, точно железо к магниту, тянулись снова играть.

Сам Доронин (он проиграл сегодня много, но не успел еще сосчитать и сознать свой проигрыш) заботился об одном только — чтобы всем было весело и приятно, и то делал, якобы для оживления игры, большую ставку

у игрального стола, то подходил потчевать кого-нибудь ужином, то прислушивался и вставлял свое слово в разговор на диване. Он был доволен гостями, и, казалось, гости были очень довольны им.

Гости эти были давно знакомы и с хозяином и друг с другом и часто сходились в гостеприимной квартире Доронина. Большинство из них было на «ты».

Чужим среди них казался только один молодой человек в белом парике и голубом атласном кафтане с галунами английского покроя. В карты он не играл, но внимательно и долго следил за игрой. Он несколько раз отходил от стола и снова возвращался к нему.

Хозяин и гости мало обращали на него внимания. Почти в самом начале вечера, при своем появлении, он сделал неловкость, благодаря которой почувствовалась эта общая отчужденность к нему. Заговорили о празднике, устроенном месяца полтора тому назад князем Потемкиным в его новом Таврическом дворце; говорили, что одного воска для иллюминации было куплено на семьдесят тысяч рублей. Для освещения дворца потребо-

валось добавить до двухсот люстр. Вообще роскошь была удивительная. Потемкин превзошел сам себя. Праздник был таков, что о нем, казалось, забыть было нельзя, и завистливый ропот удивления, похвал и злословий не умолкал в Петербурге.

Общество, собравшееся у Доронина, принадлежало к сторонникам вновь народившейся при дворе силы — Зубова, и потому здесь открыто порицали Потемкина, который напрасно-де тщится своим «мотовством» вернуть к себе прежнее расположение государыни.

— Да ему, кажись, нечего и возвращать — он никогда не терял этого расположения, да и у Зубова нет таких крыльев, чтобы залететь выше светлейшего.

Проговорил это вдруг молодой человек в атласном кафтане.

Всем стало неловко. Во-первых, в этом кружке не принято было называть князя Таврического «светлейшим», а уж ставить его выше Зубова — совсем было неудобно. Все замолчали и притихли.

— Кто это? — шепотом стали спрашивать

гости у хозяина.

Тот, застыдившись и краснея, начал объяснять и оправдываться.

— Это — Орленев, Сергей Александрович, — заговорил он тоже шепотом, — племянник старика Орленева, у которого дом на Фонтанной был... вот что умер недавно. Он жил долго за границей, в Лондоне, и приехал недавно только, именно по случаю смерти своего дяди. Он вовсе не знает Петербурга...

— Да ты-то откуда взял его?

— Я встретился с ним у Гидля, в кондитерской, — снова оправдывался Доронин. — Он сказал мне, что у его дяди был дом на Фонтанной. Он и остановился теперь в этом доме...

Но никто хорошенько не помнил старика Орленева, у которого был дом на Фонтанной.

— И всегда этот Кирюша попадетя! — решились кругом. — Очень нужно приглашать незнакомого человека.

И на Орленева стали коситься, и никто во весь вечер не подходил к нему.

Сам он не то чтобы не заметил этого, а держал себя как-то так, словно ему было решительно безразлично, как смотрят на него и

что о нем думают. Он остался у Доронина и, не заботясь ни о ком, вел себя совершенно самостоятельно.

Вскоре о нем забыли и перестали обращать на него внимание.

2

Только по временам, когда вдруг с той стороны комнаты, где стояли клавесины, раздавались звуки грустно-тихой, хватавшей за душу, увлекавшей музыки, все лицо Орленева оживлялось, и он улыбаясь прислушивался.

У Кирюши всегда вечером на сборищах его приятелей было что-нибудь особенное — певец какой-нибудь, песенники, дворовый мальчишка, пляшущий трепака, или невесть где и как разысканная цыганка, забавно гадавшая желающим.

На этот раз он позвал, чтобы играть на клавесинах, музыканта, впрочем довольно известного в Петербурге и по кондитерским, и по веселым домам, и так вот, по частным вечерам холостых людей. Слыл он полоумным, и в большинстве случаев не столько

слушали его игру, сколько потешались над ним. Он был не русский, но, каково собственное его происхождение, никто не спрашивал и не интересовался этим. По его длинной фигуре, на худых, с выдававшимися костями, плечах которой болтался длинный черный кафтан с большими пуговицами назад, по его сухому, бритому, с заостренными чертами и голубыми большими глазами лицу, выглядывавшему между прядей сидящих, прямых, длинных желтых волос, а главное, поговору — он был не русский, а потому его звали немцем-музыкантом и, так как считали, что рассудок его поврежден, — полоумным.

Он никогда не играл веселых вещей. Он обыкновенно садился за клавишины и начинал импровизировать. Импровизации его всегда лились стройным, грустным напевом, но это-то именно и нравилось его полупьяным или вовсе пьяным слушателям. Чем веселее и разгульнее была компания, тем с большим восторгом воспринимались раздававшиеся среди гама и хохота стройные, плавные звуки.

Иногда притихали и слушали в молчании

игру полоумного музыканта, давали увлечься ему, и кто-нибудь из самых пьяных начинал уже плакать и бить себе в грудь, приговаривая:

— Свиньи мы, свиньи!..

Но в это время на голову увлекшегося музыканта выливали из миски остатки липкого пьяного питья, он останавливался, дико смотрел кругом и, словно разбуженный, не понимал, что с ним случилось... И снова всем становилось весело.

Или заставляли играть его и под его грустную игру готовились к обычной, но всегда веселившей всех шутке — похоронам полоумного немца. Устраивали целую процессию: впереди несли половую щетку, наряжались факельщиками, рыцарями, закутывались в простыни и носили в виде мертвеца отуманенного своей музыкой полоумного музыканта.

В нынешний вечер оставили его в покое. Игра за карточным столом вышла слишком серьезной. Не до него было. Он несколько раз садился за клавишины, играл, играл долго, потом задумывался, низко опустив голову, сно-

ва пальцы его, как бы машинально, бегали по клавишам, и комнату охватывали тихие, мелодические звуки.

Но только один Орленев прислушивался к ним. Он весь словно преображался, когда раздавались эти звуки, и, не будь их, он давно бы ушел от Доронина. Ему очень не нравилось и было вовсе не по себе тут.

Когда немец играл, он весь отдавался его музыке и не мог уйти, когда она кончалась, надеясь снова услышать ее; музыкант играл снова, и Орленев слушал и не мог уйти.

Иногда так тихо, что Сергею Александровичу казалось, что он один слышит только, старик под свою игру подпевал немецкие стихи.

Два куплета запомнились невольно:

«Жизнь с своими испытаньями.
Бесчисленными испытаньями,
Дана нам Промыслом,
Чтобы развить нашу волю.
Человек, лишенный воли.
Человек бездеятельный
Так же к гибели близок.
Как близок к ней злодей!»

Когда завязался разговор на угольном, за камином, диване, музыкант сделал перерыв, и Орленев, искоса поглядывая на него, ожидая, когда он вновь заиграет, подошел к дивану, впрочем вовсе не желая слушать то, что говорилось там, а так, просто, от нечего делать.

Говорил тот, который был постарше остальных (Орленев не знал, кто это), и говорил уверенно, как бы зная заранее, что все, что он ни скажет, будет принято с должным уважением. И действительно, его слушали не перебивая и даже с оттенком некоторого подострастия.

— Удивительный интерес возбудила она во мне, — говорил он, растягивая слова, — презанятная история! Во-первых, возьмите в рассуждение то, что она — девушка; черненькие эдакие, знаете, глазки, талия — соломинка, а ножка!.. Для меня главное в женщине — ножка и талия... А тут и личико!.. И знаете, главное, эта невинность девичья, чистота и благородство.

— Значит, благородная? — спросил кто-то.

— Вне всякого сомнения. Уж очень в ней много этой благородной прелести. Удивительно!

— Но как же, если она благородная?

— То есть что — как? Очень просто. Я потому и рассчитываю на вас — облава, ночь... и все кончено. Не в первый раз. Я местожительство узнал.

Наступило молчание.

— Однако до сих пор, — весело и развязно заговорил Кирюша Доронин, — вы имели дело с таким народом, который не посмел бы идти против нас, но если теперь благородная...

Рассказывавший свистнул и махнул рукой.

— Об этом не тревожьтесь! Во-первых, я вас под обух за помощь и товарищество подводить не стану, — в случае чего сам один ответить сумею, а во-вторых, тут бояться решительно нечего: птичка одна-одинешенька и живет как-то странно, на Петербургской, у церкви Сампсония. С ней старуха вроде испанской дуэньи. Романтично и таинственно.

И никого у них не бывает, решительно никого, и сами они никуда не ездят.

— Так что же, ночной налет? — опять переспросил кто-то.

Кругом захихикали и засмеялись.

Орленев знал, что такие случаи в то время в Петербурге были возможны. Кутящая компания налетала на мещанский или купеческий дом, безобразничала там и потом отдывалась деньгами, подарками и, всякими правдами и неправдами, выходила чиста. Правда, что случалось не зауряд, однако все-таки случалось. Орленев думал, что делалось оно спяна, не помня, так сказать, себя, но чтобы можно было так вот заранее уговариваться устроить облаву на честную девушку, готовиться и обдумывать разбой — этого он никак не мог ожидать. И говорили они вполне серьезно, не в шутку, и старший их первый заводил речь и просил помочь.

— Но ведь это — подлость! — проговорил Орленев.

Все оглянулись на него, и с таким удивлением, точно теперь только заметили, что он был среди них.

Однако слово было уже сказано. Орленев сам ожесточился звуком своего голоса, и не успела еще пройти первая минута общего замешательства, как он заговорил, чувствуя, что вся кровь приливает ему к голове.

— Да, это — подлость, это — разбой, и та девушка, о которой вы говорите, не может быть одна и беззащитна. Я не знаю ее, но я говорю вам, что это — подлость, — это слово, первое пришедшее на язык, он повторял неволь-но, — и я не позволю вам сделать это, да, я...

— Он пьян, он пьян совсем, — заговорили кругом и несколько рук охватило его и оттащило в сторону.

— Что вы делаете! — шептал ему в ухо в это время голос Кирюши Доронина. — Что вы делаете? Ведь вы оскорбляете отца Зубова, самого Зубова; это — отец князя Зубова!

Сергей Александрович не сразу понял то, о чем ему говорили, то есть что пожилой человек, предлагавший скверную затею, был отец всеильного князя Зубова.

Между тем Зубов поднялся с дивана и твердо подошел почти в упор к Орленеву. Он вполне владел собой и улыбался подходя.

— Ваша фамилия? — спросил он, сдвигая брови, точно непогрешимый начальник у провинившегося подчиненного.

Этот тон удивил Орленева, и он именно удивленно оглядел Зубова с ног до головы и, чтобы тот не подумал, что он робеет назвать себя, громко и явственно произнес:

— Дворянин Орленев.

Он нарочно подчеркнул слово «дворянин» и выпрямился.

— Ну так вот что, дворянин Орленев, — заговорил Зубов, вдруг меняя свой прежний тон на шуточный, — не вам судить поступки старших. Но за ваши слова я разведусь с вами поединком завтра же, в леску за Фонтанной, у строящейся церкви. Вы будете меня ждать там... в семь часов утра... Но только не вообразите, что ваша выходка может изменить что-нибудь в моих намерениях! — и, взяв со стола стакан, он высоко поднял его и отчетливо проговорил: — За успех нашей затеи... на Петербургской... Вот как!..

Его слова были покрыты одобрительным криком. Пили его здоровье.

Орленев был рад и вместе с тем не рад, когда, выйдя от Доронина, очутился на улице.

То, что произошло между ним и стариком Зубовым, не только не было неприятно ему, а, напротив, веселило его и радовало, как хороший поступок, после которого обыкновенно чувствуешь себя легко и свободно. Своему поведению и своему ответу он был рад, но гнетущее чувство, сжимавшее теперь его сердце, происходило совершенно от другой причины.

Эта пьяная компания, эта игра, запах вина, пролитого на скатерть, табачный дым оставили в нем скверное, тяжелое воспоминание, не рассеявшееся, а, напротив, еще значительно увеличившееся, когда он вышел на чистый воздух теплого раннего летнего петербургского утра.

В это время года заря почти сходилась с зарей, и теперь солнце стояло настолько высоко, что, казалось, уже начинало греть, и греть так радостно и приветливо, что Орленеву невольно становилось стыдно за бессмыслен-

но проведенную бессонную ночь.

«И зачем я сидел? — спрашивал он себя, осторожно ступая по проложенным кое-где через грязь и лужи доскам для пешеходов. — Что было хорошего там? Нет, было что-то хорошее, — тут же начал припоминать он, — было!.. Да, музыка!»

В начале вечера кто-то, кажется сам Доронин, объяснил ему, что игравший на клавишных музыкант был полоумный. И, вспомнив теперь о музыке, он стал думать об этом музыканте. Его почти восковое, испитое лицо и в особенности глаза, уставленные как-то неопределенно в одну точку, так и явились перед ним, как живые.

«Но как он играет, ах, как он играет!.. Если бы они могли только понять!» — повторял себе Сергей Александрович, подразумевая под этим «они» тех, которые составляли общество Доронина и воспоминание о которых было ему теперь грустно.

Он переходил как раз по длинной доске, положенной вдоль забора чьей-то милосердной рукой на пользу общую, так как иначе пришлось бы здесь завязнуть по щиколотку.

О такой роскоши, как тротуары, даже деревянные, в Петербурге того времени не имели тогда понятия.

Достигнув конца доски, Орленев почувствовал, что сзади него, на противоположный — ступил кто-то, но обернуться, не потеряв равновесия, не мог.

«Верно кто-нибудь из этой компании тоже», — решил он, сходя наконец на протоптанную среди грязи тропинку, и оглянулся.

По доске к нему приближался в своем длинном балахоне и широкополой, какие носили немецкие пасторы, шляпе, с тростью в руке, тот самый полоумный музыкант, о котором он только что думал.

Сергей Александрович остановился, почувствовал, что ему приятно было бы поговорить, и именно с этим, чужим ему, но почему-то симпатичным человеком. Да, музыкант, несмотря на то, что его называли полоумным, был симпатичен ему.

Перейдя по доске, немец тоже остановился, потому что дорога была занята, и, глянув из-под полей своей шляпы прямо в лицо Орленеву, улыбнулся.

Здесь, вблизи, на дневном свету, он казался гораздо старше, чем там, у клавесин. Разница была слишком разительная, чтобы не броситься прямо в глаза. Там он казался человеком средних лет, только пережившим многое, теперь же пред Сергеем Александровичем стоял старик, совсем старик с глубокими складками у углов рта, и — что страннее всего — глаза этого старика были вовсе не безумные, не те, выражение которых поразило Орленева во время музыки; нет, взгляд их теперь был осмысленный, строгий и глубокий. Они смотрели в самую душу, эти удивительные глаза.

— Простите, ведь это вы играли сейчас у Доронина? — заговорил Орленев, как бы сомневаясь даже, не другой ли это был кто-нибудь.

И в эту минуту ему так хотелось поговорить с этим стариком, что он невольно заранее испугался: а вдруг тот ответит, что он не играл?

Но старик не отнекивался.

— Так позвольте быть знакомым, — сказал Орленев, назвал себя и по английской манере

протянул руку для пожатия.

Странная, как молния, быстрая улыбка промелькнула на лице старика при словах «позвольте быть знакомым»; он вежливо приподнял шляпу и пожал руку Орленеву.

— Позвольте узнать ваше имя? — спросил тот.

— Гирли!

— Это что же, фамилия ваша, имя?

— Зовите меня просто Гирли, или старый Гирли; так меня здесь все называют, — ответил старик.

И они пошли дальше вместе.

II

Сила тайны слова

1

Странное, почти необъяснимое впечатление произвел старый музыкант, просивший называть себя «просто Гирли», на Орленева.

Во-первых, это имя «Гирли» звучало как-то совсем непонятно; во-вторых, поведение его было тоже совсем особенное, даже и для полумного. Он, встретившись с Орленевым, пошел с ним, не спросив, куда тому нужно было идти, и пошел уверенно, довел своего молодого спутника до дома и показал ему на этот дом, сказав: «Вот вы здесь живете!» Орленев только потом сообразил и удивился, откуда этот старик мог знать так хорошо место, где он живет, и зачем он довел его до самого дома?

Говорил Гирли дорогой тоже вещи, непохожие на обыкновенный разговор.

Речь у них зашла об огне. Орленев не пом-

нил, как собственно заговорили они об этом. Но вот что старик сказал об огне:

— Огонь есть на небеси, и небесный огонь проявляется в грозе. Есть огонь подземный, и как он зародился под землей — это тайна, которой люди не знают. Земля так, как устроил ее Господь, нуждается в огне только подземном и небесном; но люди захотели большего. Они научились добывать огонь на самой земле и, думая, что это — благо, увеличили только свое зло. Они постарались проникнуть тайну — и за это наказуются. Не будь этого добытого людьми огня, на земле было бы гораздо меньше зла. Земля устроена так, что жить на ней человеку хорошо и привольно, то есть было бы хорошо и привольно жить, если бы жил он, как следует. Птицы знают время года и перелетают в те страны, где им хорошо и удобно. Зимой они в теплых странах, где слишком жарко летом, а летом они — в умеренном, где слишком холодно зимой. Так должны были бы поступать и люди. И всем им хватило бы места на земле, если бы они не делили ее на участки и не присваивали их себе, а считали всю землю общей. При помощи

огня люди нарушают естественный закон и остаются на зиму там, где холодно, и там, где страдают от этого холода многие из них, у которых нет почему-либо топлива, чтобы добыть огонь. Это зло от огня.

Природа дает человеку готовое питье — воду, и готовую пищу — плоды и ягоды, но люди недовольны этим. Они при помощи огня делают себе из трупов животных вычурные яства и пьяное питье, и те, которые не могут себе доставить это, страдают от лишения, делают преступления, душу свою продают, чтобы достать себе то, что соблазняет их. А между тем рубят на топливо деревья, уничтожают леса, реки от этого сохнут, и земля приходит в расстройство. Это — второе и еще большее зло от огня.

Мало того, люди, незаконно похитившие тайну огня, изоцряют свой ум на выдумки, которые якобы полезны человечеству, якобы могут осчастливить его, но на самом деле делают только более несчастным. Все люди не могут пользоваться этими выдумками. Они доступны сравнительно немногим, а остальные мучаются, зачем и они не могут пользо-

ваться всеми этими якобы благами. — А те, которые пользуются, стараются так исхитриться, чтобы пользоваться еще большим. Все хотят быть «как боги», вместо того чтобы оставаться детьми, счастливыми и радостными, как дети. Это — третье и самое большое зло от огня».

Так говорил полоумный музыкант, и Орленев слушал его речи, разумеется, не доверяя им, потому что знал, что музыкант — полоумный и говорит совершенно противное тому, что с детства приучили его, Орленева, считать разумным и хорошим. Но когда он, вернувшись к себе, остался один в пустых покоях дядино дома и стал вспоминать слова Гирли, они ему вдруг показались вовсе не такими уже безумными.

«Что же это, — мелькнуло у него, — или и я тоже на пути повреждения рассудка?»

Впрочем, Орленев не долго думал о том, что и о чем говорил ему полоумный старик. Какое в сущности было ему дело до этого старика? Ну, встретились случайно, было как будто, правда, что-то странное в этой встрече, — но они разошлись, сейчас же разошлись, чтобы больше, вероятно, никогда уже не встречаться.

Сергей Александрович твердо решил, что больше он ни к Доронину, ни к кому из его компании не пойдет, значит, не может и столкнуться вновь со старым Гирли.

Да и Бог с ним! У него, Орленева, было слишком много теперь своих собственных забот и волнений.

Наутро ему предстояла дуэль. По крайней мере он очень хорошо помнил, что старик Зубов предложил ему развестись поединком и совершенно определенно назначил час и место дуэли. Нужно было быть там в семь часов утра — значит, ложиться спать не стоило. Оставалось каких-нибудь два-три часа до того, как следовало идти, и Орленев счел за луч-

шее переодеться, вымыться, выпить кофе и потом прямо идти. Но будить слуг было еще рано. Они сами вставали в половине шестого, и можно было подождать, пока они встанут.

Предстоящий поединок нисколько не беспокоил Сергея Александровича. Во-первых, он слишком привык к подобного рода историям, во-вторых, старик Зубов вовсе не казался опасным противником. Да если б противник был опасен и серьезен, едва ли Орленев задумывался бы об этом. Сколько раз приходилось ему на своем веку так вот сходиться и с искусными, и с неискусными бойцами, и никогда он не задумывался о том, что может случиться с ним потом.

И до сих пор всегда все сходило у него счастливо и удачно. Эта удача заключалась главным образом в том, что не только сам он никогда еще не был ранен на дуэли, но ни разу (и это было для него главное) не пришлось ему нанести своему противнику такое повреждение, которое имело бы серьезные последствия. Он всегда старался поставить сражавшихся с ним лишь в невозможность продолжать поединок и, когда достигал этого, оста-

вался совершенно доволен.

Бывало, когда прежде у него водились деньги и он играл в карты, он волновался гораздо больше за карточным столом, следя глазами за тем, как ложились карты, определявшие проигрыш или выигрыш, чем пред таким пустяком, как поединок.

Теперь для него самое неприятное и заключалось именно в том, что у него не только не было денег, но и не предвиделось возможности откуда-нибудь получить их, да не сегодня или завтра, а вообще в будущем. Обстоятельства складывались так, что в этом будущем относительно своего материального положения Орленев мог предвидеть одну лишь определенность: полное отсутствие всякой надежды на более или менее прочное устройство своих средств. У него теперь ничего не было и ждать ему было неоткуда.

— Как хочешь, так и будь! — повторял он себе, ходя по комнатам в ожидании, пока поднимутся слуги, и разводя руками.

Хуже всего было в этом то, что до сих пор жизнь его слагалась очень удачно, и он совершенно не привык думать о завтрашнем дне.

Мать Орленева скончалась, когда он был еще ребенком. Отец его служил в провинции и не имел никогда состояния, жил жалованьем, которое было однако настолько велико, что вполне хватало на прожитие. Орленев помнил отца и помнил то, как он умер после долгой-долгой болезни. Во время этой болезни к ним приехал дядя и потом, когда отец умер, взял и увез его с собой.

«Сироты Сережи», как стали тогда называть окружающие молодого Орленева, не жалели кругом. Напротив, говорили, что дядя, который берет его к себе, очень богат, что это очень хорошо, что он богат, и что житье Сережи будет куда завиднее прежнего.

И Орленев должен был сознаться, что житье для него началось действительно завиднее прежнего. Дядя увез его с собой в Петербург, потом за границу, в Париж, где и отдал на воспитание.

Сам дядя жил в Париже часто, но всегда наездами. И никогда молодой Орленев не знал наверное, когда дядя уедет или появится вновь. Приезды и отъезды всегда происходили совершенно неожиданно. Иногда дядя по-

сле двух-трех месяцев отсутствия вдруг придет, пробудет всего один день и снова исчезнет надолго; потом вернется и живет целый год безвыездно в Париже... и так всегда.

О том, куда и зачем уезжал дядя, какие собственно были у него дела и чем он занимался, — Сергей Александрович не имел понятия.

Ни разу в жизни, с тех пор как помнил его Орленев, он не видал его ни взволнованным, ни рассерженным, ни особенно радостным, ни особенно печальным. Всегда ровный, тихий и как-то торжественно задумчивый, он сиживал бывало в большом кресле у узкого маленького окна старинного домика с садом, который он нанимал в Париже. Когда Сергей Александрович приходил к нему на побывку, то никого не заставлял из гостей у дяди. Кажется, никто никогда не навещал его и сам он нигде не бывал.

Когда в Париже Орленев приходил к дяде, ему подавали отлично приготовленные кушанья и старое вино, способное сделать честь любому столу, но завтракать, обедать и ужинать ему приходилось одному. Когда, что и как ел его дядя, этого он не знал.

Расспрашивать о чем-нибудь, допытываться он боялся, и потому дядя для него был окружен какой-то вызывающей чуть ли не благоговейное уважение таинственностью.

Говорили они мало, но всякое слово, произносимое тихим, уверенным голосом дяди, невольно так и запоминалось.

Какая огромная разница была между величественной старостью и этим стариком, болтливым и легкомысленным, несмотря на свои годы, — Зубовым, с которым сегодня утром придется сойтись Орленеву! Это сопоставление невольно пришло ему в голову.

Когда кончились в Париже годы воспитания молодого Орленева, дядя отвез его в Лондон и определил там на службу при русском посольстве, сказав, что будет высылать ему на прожитие достаточную сумму денег, благодаря которой ему не придется нуждаться.

По тому, как легко достиг дядя назначения Орленева в посольстве, и по тому, как он независимо держал себя с важными чиновниками, юноша убедился, что дядя, должно быть, имел кое-где некоторую силу.

В посольстве приняли его очень радушно, и он, оставленный в Лондоне дядей, который распростился с ним надолго, обжился там очень скоро.

Дядя в Лондоне более не появлялся. Деньги Орленев получал исправно и жил припеваючи.

Так продолжалось до тех пор, пока не пришло известие из Петербурга о смерти дяди. Сергея Александровича вызвали в Петербург для получения наследства, потому что един-

ственным законным наследником дяди являлся он. Делать было нечего: как ни хорошо жилось в Лондоне, нужно было вернуться в Россию для устройства дел. И Орленев вернулся.

В Петербурге он нашел опустелый дядин дом на Фонтанной, где было человек десять дворни — и только. Ни денег, ни поместий, ни даже бумаг никаких покойный не оставил. Как, чем он жил и откуда брал ту «достаточную» сумму, которую высылал в Лондон, осталось совершенно неизвестным. Дом был, несмотря на множество новых домов постоянно строившегося Петербурга, времен еще петровских, значит, возведенный по крайней мере лет семьдесят пять тому назад. С тех пор если он и ремонтировался, то плохо. Мебели и ценных вещей в нем не нашлось.

Таким образом, Орленев, утешавший себя мыслью при возвращении своем из Лондона, что он по крайней мере теперь — самостоятельный и обеспеченный человек, совершенно ошибся в своем расчете и оказался владельцем, в чужом и малознакомом ему Петербурге, готового развалиться старого здания,

едва пригодного для житья, да десяти человек дворни, которую нужно было кормить и одевать точно так же, как дом ремонтировать. Кроме того нужно было и самому есть что-нибудь.

У Орленева оставалось еще немного денег из занятых в Лондоне на дорогу, и это было все, чем он мог располагать. И никого знакомых, никого родных.

Случайно он на второй же день своего приезда, когда пошел осматривать город, встретился в кондитерской у Гидля с Дорониным, разговорился с ним. И тот добродушно пригласил его к себе вечером.

Этот скучный вечер, с которого Орленев давно бы ушел, не будь там немца-музыканта, кончился столкновением со стариком Зубовым, отцом всеильного Платона Зубова, принявшего от Безбородко управление иностранными делами и являвшегося таким образом непосредственным начальством Орленева, служившего при посольстве.

И скверно тут было еще то, что Орленев не успел даже представиться Платону Зубову.

Впрочем, он и без того решил уже подать в

отставку, которая была необходима для него ввиду денежных затруднений.

«Если даже продать дядин дом со всем скарбом, — рассуждал он, — то выручка окажется все-таки слишком незначительной; придется жить одним жалованьем, а для житья в Лондоне при посольстве этого жалованья далеко не хватит».

Волей-неволей приходилось оставить службу.

4

Все эти соображения и воспоминания проходили путаной вереницей в голове Орленева.

Спать ему вовсе не хотелось. Непривычный свет белой петербургской ночи окончательно разогнал ему сон, и он ходил, заложив руки за спину, вдоль ряда чуждых ему, не родных, не таких, с которыми он сжился, комнат дядина дома.

Первая из них, как войти с лестницы, была обита когда-то красной, теперь совсем выцветшей, камкой с деревянной панелью; в ней же стояла кафельная печь на золоченых

ножках. Здесь стояли по стенам с плетеными из соломы сиденьями стулья, такие же потемневшие от времени, как пол, панель и деревянный потолок этой комнаты.

Двустворчатая стеклянная дверь вела отсюда в зал, довольно длинный, в четыре окна, с панелью из цветной вощанки, с дубовыми скамьями вдоль стен, со стеклянной люстрой в шесть свечей, с узенькими, составленными из трех кусков, зеркалами между окон, большой синей кафельной же печью и двусвечниками по углам.

Дальше шла столовая. Посредине ее стоял стол с крыльями и двумя скамьями по бокам. Против окон были оштукатуренный камин и дверь в коридор. В простенке стояли часы.

За столовой была спальня, вся выбеленная (потолок и стены), с двумя печами по углам и с деревянной, с зеленым шелковым выцветшим балдахинном, кроватью, закрытою высокими китайскими ширмами.

Здесь умер дядя, и эту комнату Орленев оставил неприкосновенной. Он поселился в последней, угловой, за спальней, горнице, где стояли большое кресло дяди, бюро, оказавше-

еся совсем пустым, и шкаф с книгами.

Орленев в первый же день приезда бегло осмотрел эти книги. Они были все петровских времен и очевидно принадлежали не дяде, а предшествовавшему хозяину.

«Ну, что тут выручишь, куда все это годно?» — спрашивал себя Сергей Александрович, может быть, в сотый раз, шагая вдоль этих комнат и снова возвращаясь к себе в угловую, которая была ему симпатичнее других, потому что была обставлена привезенными им с собой вещами и все-таки казалась похожей на жилую комнату.

Он опустился на свою дорожную, устроенную здесь, кровать, положил локти на колени, закрыл лицо руками и задумался.

Все те же и те же мысли шли ему в голову.

Он отнял руки от лица, открыл глаза, чтобы отогнать эти докучные мысли, но головы не поднял. В этом положении его взоры остановились на углу нижнего корпуса книжного шкафа. На этом углу было небольшое колесико. Орленев глянул на другой угол — там точно такое же! Значит, шкаф был так устроен, чтобы отодвигать его.

Сергей Александрович (ему это показалось очень интересным) встал и сейчас же попробовал отодвинуть шкаф. — На приделанных к нему колесиках тот отодвигался очень легко, так что повернуть его мог бы свободно и человек гораздо менее сильный, чем Орленев.

Отодвинув шкаф, последний, разумеется, заглянул за него. Сделал он это почти по инерции, не соображая особенно, зачем, и не думая о том, что может быть за шкафом. По всей вероятности — ничего!

Так оно и вышло. За шкафом не то что ничего не было, но ничего интересного не было там: оказалось, на стене, закрытой шкафом, была вделана доска, довольно больших размеров, почти хватавшая до самого пола, и на этой доске была изображена одним выжженным контуром женщина, увенчанная тиарой, с полумесяцем наверху, покрытая прозрачной вуалью, с отверстой книгой в руках, которую она прятала наполовину под мантией. С одной стороны ее была черная колонна, с другой — красная. Внизу виднелась подпись на латинском языке:

«Да проявится правда, и благо мне будет! И

если человек обладает настоящей волей, он увидит свет правды и достигнет блага, которого ждет. Стучись — и тебе отворят, но прежде изучи прилежно путь, по которому идешь. Обрати лицо твое к солнцу правды, и познание истины тебе будет дано. Храни в тайне свои намерения, чтобы не дразнить ими людского противоречия!»

Орленев оглядел это изображение, прочел подпись, улыбнулся, потрогал доску (она крепко сидела в стене), даже постучал в нее и, задвинув шкаф на место, вернулся к своей кровати. Он не хотел вникать в смысл этой подписи, которую он, свободно читая по-латыни, понял от слова до слова.

И доска, и надпись, и то, что она была закрыта устроенным на колесиках шкафом — все это было чрезвычайно похоже на дядю. Так он и видел именно его. В этой надписи дядя, казалось, выразился весь.

«А что говорит эта подпись, как там было сказано? — вдруг подумал он, сев на кровать. — Помощью воли пред разумом развертываются стороны жизни. Если воля здравая, — начал припоминать он, — нет, кажется

не так...»

Сергей Александрович сделал усилие мысли, чтобы вспомнить, были эти слова надписи или они пришли ему в голову откуда-нибудь из другого места. Немец-музыкант под свою игру на клавиесинах сегодня мурлыкал стихи, в которых тоже говорилось о воле. Воля! Чтобы быть сильным волей, нужно уметь желать, а были ли у него, Орленева, справедливые желания, было ли у него хоть что-нибудь в жизни, что заставляло действовать?

III «Она»

1

Это было три года назад. Орленев жил уже в Лондоне. Тогда, в октябре 1788 года, разнеслась по Англии весть, что король Георг III болен, что он сошел с ума и не может более принимать участие в делах правления. Во главе этого правления стоял Вильям Питт младший, красноречивый оратор парламента. Противная ему партия вигов торжествовала уже свою победу, рассчитывая, что теперь наступит несомненное падение этого государственного человека, лишившегося главной своей поддержки — короля.

Питт, открывая парламент, должен был объявить о постигшем короля несчастье, и сессия открылась без установленной обычаям тронной речи. Он предлагал парламенту образовать комиссию, которая разыскала бы исторические документы и установила бы на основании их, как следовало поступать в на-

стоящем случае. Виги протестовали. По их мнению, так как король был не в состоянии управлять страной, власть должна была перейти к наследнику престола. Они настаивали на этом потому, что знали, что наследник на их стороне. Однако в первое заседание Питту удалось оттянуть решение дела, и после того он четыре месяца держался, пользуясь неопределенностью положения.

Вопрос, перейдет ли власть к наследнику и, значит, восторжествуют виги, или будет составлено регентство и у власти останутся по-прежнему тории, с Питтом во главе, — остался открытым. Лондон был в волнении, а за ним волновалась вся Англия.

Однако, по истечении четырех месяцев, тянуть дальше оказалось невозможным. Было назначено последнее, решительное заседание парламента, чтобы непременно прийти к какому-нибудь результату.

В день этого заседания с самого раннего утра толпа народа стала собираться к зданию парламента. Счастливики, получившие доступ туда, с трудом пробирались сквозь густую массу народа, сходявшегося со всех кон-

цов и желавшего хоть на улице узнать результат совещания.

Общее настроение было склонно к тому, что Питту несдобровать. Говорили, что у него собственно нет никаких ресурсов, чтобы поддержать выставленное им положение, и что партия вигов по-видимому стоит на более законной почве.

Интересно было то, что Питта, одного его, противопоставляли целой партии, хотя он на самом деле являлся лишь главой ториев. Но так и говорили: «Питту несдобровать, виги восторжествуют».

Много тут было приверженцев той или другой партии, но гораздо больше было таких, которые волновались предстоящим решением вопроса, относясь почти безразлично к тому, победят ли виги, или Питт останется у власти, но интересуясь просто узнать результат, на чьей стороне останется победа, как на скачках, где одна лошадь должна прийти раньше другой.

И тоже, как на скачках, держали пари. Однако среди державших за вигов были люди, вовсе не симпатизировавшие им, но желав-

шие лишь выиграть ставку.

За бедного Питта мало было охотников держать, несмотря на всю его популярность. Действительно, трудно было даже предположить, какой способ может он найти, чтобы извернуться при всем своем красноречии.

— Нет, кажется, все право на стороне вигов! — говорилось в толпе, за них ставили крупные суммы.

— То есть не право, — возразили сторонники ториев, — права у них нет, но вероятно победа останется на их стороне, — и тоже держали за вигов.

За Питта ставили на авось, отвечая иногда всего лишь половинной ставкой.

Политические страсти и азарт игры разгорались в толпе, и она валила к парламенту, стягиваясь мало-помалу к одному, интересовавшему всех, центру. Тут были и мужчины, и женщины.

К началу заседания толпа стала так велика, что члены парламента не могли подъехать к воротам в экипажах и должны были пробираться пешком. Казалось, весь Лондон собрался здесь, но это казалось только, пото-

му что народ все прибывал и прибывал, и толпа росла непомерно.

Орленев тоже пошел. Он мог бы попасть вместе с посольством а парламент, но ему хотелось лучше поглядеть на народ, на это его своеобразное участие в государственном деле. Ему нравились это оживление, говор, это забвение на сегодняшний день своих личных интересов в этой толпе, жужжавшей об одном и том же на разные лады.

— Началось заседание?

— А, что?.. Говорит речь, кто говорит речь?

— Питт проехал... Где он, Питт? Он там, в парламенте?

— Несдобровать ему сегодня.

— Говорят, он вовсе не покажется, потому что ему сказать нечего.

— Ну, найдет, что сказать — не такой человек, чтобы потеряться.

— Больным, говорят, сказался.

— А вот узнаем... Да заседание-то началось?

Орленев, увлекаемый толкавшими его сзади, волей-неволей двигался вперед, чувствуя, что ему становится все теснее и теснее и что с

каждым шагом движение становится затруднительней.

2

Несколько раз Сергея Александровича сжимали так, что ему дышать становилось трудно, хватывало дух, и он должен был делать невероятные усилия, чтобы освободиться из давивших его живых тисков. Но на него не обращали внимания, жали и толкали его, и шумели, и кричали на чужом ему английском языке, шипящие и свистящие звуки которого окончательно сливались для него теперь в одну нестройную массу.

И вдруг среди этого чуждого ему говора он ясно услышал произнесенные по-русски слова:

— О Господи!

Орленев обернулся, ища глазами, кто мог произнести эти слова. Большинство русских, бывших в Лондоне, он знал, но возле него теперь не было знакомого лица.

«Верно слышалось», — подумал он, а в то же время взоры его остановились на молоденьком, хорошеньком личике стоявшей

несколько впереди его девушки.

Их отделяло друг от друга всего несколько человек.

Она стояла и беспомощно оглядывалась кругом, как бы ища защиты от охватившей ее со всех сторон толпы.

— О Господи! — повторила она.

На этот раз Сергей Александрович не мог уже ошибиться. Теперь он не только слышал родную себе речь, но и видел движение тех губ, которые произнесли русское слово. Он почти инстинктивно сделал усилие пробраться к ней и, сам не чувствуя как, сейчас же очутился возле нее.

— Вы — русская?

Девушка отшатнулась и испуганно глянула на него, но робость, с которой сделал он свой вопрос и видимое желание помочь ей, а главное — невольное восхищение, так и блеснувшее в его глазах, когда он обратился к ней, сейчас же успокоили ее. По одежде, по манерам она увидела в нем порядочного человека, готового защитить ее, если нужно.

— Я потерялась в этой толпе, — ответила она, — потеряла свою компаньонку... и не мо-

гу выбраться...

Орленев понял, что ей нужно было высвободиться из этой толпы, и, взяв ее за руку, повел, сам не зная еще, удастся ли ему вывести ее. Однако оставаться на месте было еще хуже, и он повел ее, то расталкивая загораживавших им дорогу, то уговаривая пропустить их.

Они подвигались с таким трудом, что, несмотря на невероятные усилия, едва могли сделать несколько шагов, как принуждены были остановиться. Идти против напиравшей толпы было невыносимо.

В это время с той стороны, где было здание парламента, раздался сначала сдержанный, потом вдруг разросшийся гул; толпа колыхнулась, задвигалась, заговорила и зашумела.

— Что, что такое? — раздавалось кругом.

— Питт... Вильям Питт...

— Что Питт? Что он сделал?

— Питт победил, Питт победил! — кричали в передних рядах, и этот возглас эхом передвигался дальше.

Оказалось, что те, кто рассчитывал на шансы вигов, не предвидели одного самого

простого случая: выздоровления короля. И Питт победил без речей, без особых комбинаций, просто благодаря тому, что имел возможность объявить о выздоровлении короля.

— Король выздоровел... Питт победил! — кричали теперь кругом и волновались, и двигались.

Орленев не слушал уже, что происходило кругом; ему теперь было совершенно безразлично, что объявил Питт; ему важно было только одно — беречь и вывести из толпы невредимой девушку, руку которой он чувствовал в своей руке и взгляд черных глаз которой был пред его глазами, хотя он и не смотрел на нее.

Он почти подхватил ее в общей сумятице и суматохе, кинулся наугад куда-нибудь, лишь бы действовать и двигаться, кинулся с такой стремительностью, что скорее, чем думал, очутился, подхваченный потоком толпы, в улице и мог свернуть в ворота первого попавшегося дома.

Теперь, когда они были в безопасности, он еще раз оглянулся на девушку, и она показалась ему в своем смущении еще не совсем ис-

чезнувшего страха еще лучше, чем прежде.

Он назвал ей себя, сказал, что служит в русском посольстве и что она может быть совершенно покойна, что он проведет ее к дому, где она живет.

— Только вы мне скажите, где вы живете? — спросил он.

Девушка не знала ни названия улицы, ни даже квартала, где она жила, потому что в Лондон приехала впервые в жизни несколько дней тому назад со своей компаньонкой-француженкой, владевшей немного английским языком. Сама она не говорила по-английски. Они вышли сегодня с компаньонкой пройтись по незнакомому городу, чтобы посмотреть его, увидели много людей, шедших все в одном направлении, пошли за ними из любопытства, попали в толпу, и толпа их разделила.

— А кроме компаньонки, с вами никого нет в Лондоне? — спросил Сергей Александрович.

— Никого.

— Где же ваши? Где ваша семья?

Девушка не ответила и, опустив глаза, сто-

яла молча.

— Где же ваш отец, мать? — переспросил Орленев. Она снова не ответила.

— Простите, — заговорил он опять, — но мне нужно знать ваше имя, чтобы помочь вам найти в посольстве ваш адрес. Там можно узнать. Нужно только ваше имя.

Девушка стояла, все опустив глаза, и тихо, так тихо, что едва слышно было, проговорила наконец:

— Имя свое и кто я — я не могу вам сказать.

В этом слове «не могу», в том, как она произнесла его, были и полная беспомощность, и просьба простить ее за то, что она не может и не должна называть себя.

Девушка была мила в это время, мила так, что Сергей Александрович готов был все сделать и всему подчиниться, что она только захочет.

— Не можете? — удивленно воскликнул он. — Но отчего же?.. Как же тогда я доставлю вас домой?

Она не улыбнулась, но только глянула на Орленева.

«Нет, она не может лгать, — подумал он при этом ее взгляде, правдивом и милом, — значит, так надо, значит, я не имею права знать, кто она».

И вдруг при этом он почувствовал, что сердце его сжалось так болезненно, точно он в эту минуту навсегда лишился любимого, дорогого и близкого существа.

На улице в это время толпа поредела, можно было идти дальше. Орленев решил все-таки отвести девушку в посольство.

— Вероятно, ваша компаньонка догадается прийти туда, — пояснил он.

— О да, верно, она догадается! — машинально повторила она.

И вплоть до посольства они шли, не проронив более ни одного слова.

У дверей посольства они встретили бледную, растерянную француженку; та, вскрикнув от радости, кинулась к ним и, точно убегая от погони, быстро исчезла вместе со случайной спутницей Орленева, не сказав даже хоть слово в благодарность ему.

С тех пор прошло довольно много времени, но образ случайно встреченной девушки не оставлял Орленева. Ни одно хорошенькое личико, виденное им впоследствии, не могло для него сравниться с ней, да и до встречи с ней он тоже не видел лица лучше ее.

С ним случилось то, что бывает обыкновенно со всеми влюбленными.

Эта девушка — потому что именно она понравилась ему — казалась ему таким чудом красоты, точно это был тот идеал небесный, к которому он стремился отродясь и который вдруг явился ему на земле. И для него она явилась не такой, как была на самом деле, а такой, какой он представил себе ее.

Случайность и мимолетность встречи, некоторая загадочность и таинственность,

которыми она была окружена при этом, способствовали еще более усилению впечатления. Все остальные встреченные им в жизни девушки были на взгляд Орленева простыми, земными, добрыми или злыми существами, но она, та, виденная всего лишь какие-нибудь полчаса, была исключительным, нездешним существом, о котором он стал грезить не только во сне, но почти наяву.

Полчаса, проведенные с ней в Лондоне, стали для него самым дорогим воспоминанием в жизни.

То, что он вероятно никогда не встретит ее больше и никогда не узнает даже, как ее зовут, и то, что сама она забыла, может быть, и думать о нем, нисколько не смущало его. Напротив, так и должно было быть. Разве на солнце можно смотреть безнаказанно? Ведь можно только чувствовать его блеск и теплоту... И Орленев воображал, что согрет на всю жизнь светом той девушки.

Иногда она являлась к нему во сне, окруженная блестящим ореолом.

Но ни разу в жизни он не видел ее так ясно, как теперь. Она была пред ним. Слепи-

тельные лучи блестели кругом ее, точно она явилась центром самого солнца. Над ее головой венцом горел круг двенадцати звезд. Чего фантазия не представит иногда? В правой руке она несла орла, в левой — жезл с глобусом на конце. Ногой она опиралась на полумесяц.

«Желать возможного, — говорила она ему, — все равно что уже созидать его, желать невозможного и безумного значит стремиться к разрушению и гибели».

«Да, да, это правда», — повторял себе Орленев, чувствуя, что глаза его слепнут от яркого света.

Он сделал усилие, поднял веки, и солнечные лучи, ударившие через окно прямо ему в лицо, действительно ослепили его.

Он отвернул голову и понял, что заснул, сидя у себя на постели.

Он, точно электрическая искра ударила его, вскочил на ноги. Неужели пропущено им назначенное для дуэли время?

Часы в столовой зашипели и пробили шесть.

Орленев знал, что они отстают по крайней мере на полчаса; все-таки он имел полную

еще возможность позвать слугу, умыться, переодеться и не торопясь отправиться к недалеко от его дома строившейся церкви на Фонтанной.

IV

Человек, сидящий на камне

1

Орленеву не трудно было найти дорогу одному, без провожатого. Нужно было идти налево от дома, по берегу Фонтанной и вплоть до небольшого леска, где среди нескольких низеньких домиков производилась постройка.

День был праздничный. Сергей Александрович знал, что там рабочих не будет и дуэль может состояться без посторонних свидетелей.

Впрочем, в эту минуту он вовсе не думал о ней. Он шел довольно равнодушно, следя однако глазами за тем, как три мужика, влегшись в ляжки, тянули баржу по реке, как на той ее стороне бабы полоскали белье, корова паслась, щипля траву, по отлогому берегу, и ему почему-то было досадно, глядя на эту проснувшуюся деревенскую жизнь еще не ставшего вполне городом Петербурга. Ему до-

сладна была эта деловитость, с которой не только мужики тянули баржу и бабы полоскали белье, но даже корова и та щипала траву как-то с полным сознанием того, что она делает. Между тем сам он не знал, решительно не знал, что начать и к чему приступить.

«Кажется, сюда?» — вспомнил он, подойдя к леску, и свернул от реки.

Между жидких стволов виднелись уже выведенные стены церкви с лесами вокруг них.

Орленев пошел туда через лес наперекоски. Он был уверен, что придет первым, но на всякий случай оглянулся: не видно ли где поблизости кареты, в которой мог приехать его противник. Кареты не было. У постройки же, в том самом направлении, куда шел Орленев, сидел на камне человек, скрестив ноги. Фигура его сразу показалась знакомой.

«Да это Гирли, — сообразил Орленев, узнав старика, — вчерашний музыкант! Но зачем он здесь и что ему нужно?»

Он приостановился, не зная, идти ли ему вперед? Возвращаться было все равно нельзя: он обещал быть вовремя на месте, и вежливость требовала, чтобы он был там.

Однако присутствие полоумного старика уж ни с какой стороны не подходило к тому делу, для которого пришел сюда Орленев.

«Нужно во что бы то ни стало удалить его, — решил он, — а то только помешает!»

— А я вас жду, — встретил его Гирли еще издали, как только заметил его.

— Вы ждете меня? Зачем? — удивился Сергей Александрович, подходя и здороваясь со стариком.

— А вот именно по тому делу, по которому вы пришли сюда.

— То есть как по тому делу? Вы разве слышали вчерашний разговор?

— Слышал!

— Зачем же вы пришли сюда? — спросил Орленев поморщившись.

— Потому что меня прислали. — Старик сидел на своем камне, не меняя положения скрещенных ног, и смотрел совсем серьезно на Орленева. — Камень, — сказал он вдруг, — есть побежденная материя: видите, он имеет совершенную форму куба. А это, — он показал на свои ноги, — знаете ли вы, что это такое? — Он снова глянул на собеседника и тут

же продолжал: — Это — символ человеческого могущества, которое имеет четыре выражения... Да, — добавил он по-прежнему серьезно, — четыре выражения в трех измерениях бесконечности. Я говорю о высоте, ширине и глубине...

Камень, на котором сидел Гирли, был действительно кубический, плотно лежавший на земле, но от этого Орленеву не было легче и странные слова старика не стали яснее. Он, не заметивший вчера в нем ничего такого, что ясно выказывало бы его полоумие, теперь сразу увидел, что рассказы о повредившемся рассудке Гирли были вполне справедливы.

«Бедный старик!» — невольно мелькнуло у него, и он улыбнулся Гирли, как улыбаются детям, а затем мягко спросил:

— Зачем же вас прислали сюда?

Но старик ответил опять бессмыслицей:

— Чтобы я вам показал камень и что нужно сделать для того, чтобы держаться на нем.

Толка, очевидно, трудно было от него добиться.

Орленев несколько беспокойно огляделся кругом: не идут ли те, кого ждал он? Действи-

тельно, вышло бы как-то неловко, если и во все не смешно, что они могли застать его здесь в беседе с полоумным музыкантом, солидно усевшимся на своем «кубическом» камне со скрещенными ногами.

— Вы не оглядывайтесь, — сказал опять старик, как бы поняв движение молодого человека, — они не придут!..

— Кто «они»? — вырвалось невольно у того.

— Те, кого вы ждете.

— То есть как не придут? Почему вы знаете это?

— Знаю, потому что меня послал старик Зубов передать вам записку.

Орленев так и остановился, пораженный удивлением.

— Старик Зубов просил вас передать мне записку? Где же она?

Гирли не торопясь достал из кармана сложенную и запечатанную записку на синей бумаге и подал ее Сергею Александровичу. Тот распечатал и прочтя глазам своим не поверил.

Зубов писал, что он — не мальчишка или

какой-нибудь безрассудный фендрик, чтобы так, зря, здорово живешь, драться с первым встречным, и что принять это всерьез мог только такой полупомешанный, как Орленев, а потому он, Зубов, и посылает к нему полумного музыканта, с которым-де они и могут поговорить по душе, если желают. А большего Орленев недостоин и должен быть рад, что не поплатится за свою вчерашнюю дерзость более серьезным образом.

Это была наглая, до цинизма грубая насмешка, за которую Орленев даже отплатить не был в силах. Он скомкал записку, с сердцем бросил ее наземь и повернулся, чтобы уйти. Не оставаться же ему было с этим, видимо, лишенным рассудка стариком!

— **П**остойте, куда же вы? — услышал Сергей Александрович за собой голос старого Гирли, когда собрался уходить.

Он обернулся, но не потому, что услышал оклик музыканта, а для того, чтобы спросить, когда собственно этот Зубов дал старику свою записку.

— Вы когда получили поручение от Зубова передать мне это? — показал он на валявшуюся на земле скомканную записку. — Вчера еще или сегодня утром?

— Не все ли вам равно? — спросил Гирли.

— Нет, не все равно. Неужели, если записка была вчера у вас в кармане, когда вы догнали меня, возвращаясь от Доронина, вы не могли тогда же отдать ее мне?

— Зачем?

— Хотя бы для того, чтобы я имел еще время вернуться и сказать этому Зубову, что так нельзя поступать.

— И наделать глупостей, — подхватил старик.

Орленев остановился. Он вспомнил опять,

что старик полоумный и сердиться на него нельзя.

— Погодите, — продолжал Гирли, — вам спешить некуда. Я отдал бы вам записку еще вчера, если бы это было нужно. Но не в этом дело...

Несмотря на очевидную якобы нелепость некоторых слов и выражений этого старика, голос его был такой разумный по интонации и глядел он так умно и ясно, что можно было минутами забыть его полоумие.

— В чем же дело? — спросил Орленев возвращаясь. Гирли, пристально поглядев на него, сказал: «А вот сядьте!» — и показал на лежащий возле такой же, на каком сам сидел, камень, после чего продолжал, когда Орленев сел:

— Вы обижены, в вас теперь злоба кипит, вы даже на меня готовы сердиться...

У Сергея Александровича, правда, кипела на сердце горечь незаслуженной, «подлой», как он мысленно выражался себе, насмешки, и он лишь проговорил сквозь зубы:

— Я на вас не сержусь!

— Значит, сердитесь на того, кто обидел

вас? Но послушайте! Обиды не создал Господь, а всего, чего не создал Он, — нет; значит, и обиды не может быть.

— Как же нет обиды, когда я чувствую ее?

— Вы чувствуете не обиду, а сердитесь, потому что с вами сделали то, за что у людей принято сердиться друг на друга. Заметьте: «у людей принято», то есть они как бы сговорились — давайте, дескать, сердиться в таких вот случаях. Ну, а вы станьте выше этого, не подчиняйтесь этому обычаю и увидите, что сердиться не на что. Условьтесь сами с собой в противном. Вот и все.

Орленев задумался. Опять в словах старого музыканта было что-то если не совсем такое, с чем можно было согласиться тотчас же, то во всяком случае можно было считать это хорошим, что не было дурно.

— Да, — возразил Сергей Александрович, — ударят тебя в правую — ты подставь левую щеку. Так поступают святые... Но я — не святой!

— Во-первых, почему вы словно с какой-то гордостью заявляете, что вы не святой? Каждый человек путем испытания может добить-

ся, если захочет, и святости. Во-вторых, я во-все не о том, не о евангельском тексте говорю. Я говорю, что ничего нет легче уничтожить устроенное самими людьми, не существующее на самом деле, то есть обиду.

Не смысл слов старика, идущий вразрез всему тому, что с детства внушали Орленеву, но его тихий голос и какая-то словно торжественная размеренность речи действовали успокоительно-властно.

Солнечное летнее утро сияло приветливо кругом, деревья весело зеленели, река сквозила своей серебристой поверхностью между их стволов, и в воздухе было так тихо и радостно, что сердиться и волноваться было как-то в самом деле не к месту... И это ли утро, или успокоительная речь старика, или то и другое вместе подействовало на Орленева.

— Хорошо, — сказал он, начиная рассуждать с полоумным Гирли, как с человеком, вполне обладающим рассудком, — хорошо, я, пожалуй, могу иногда взять на себя, подавить в себе, скажем, обиду. Но ведь это не удастся же всегда и во всех случаях жизни.

— Ничто не может противостоять твердой

воле, руководимой знанием правды и справедливости, — проговорил Гирли, — и бороться за их осуществление — не только обязанность, но и долг каждого человека. Победитель в этой борьбе исполняет лишь свою задачу...

— Да, но не всегда можно выйти победителем.

— Нет, всегда. Ничто не может помешать человеку, стремящемуся к правде.

— А обстоятельства? Ну, бедность, например! Иногда она мешает человеку так, что он не в силах побороть ее.

Орленев сказал это под впечатлением того, о чем думал сегодня один у себя дома. Бедность, о которой он упомянул и о которой думал, надвигалась на него.

— Бедность, — подхватил старик, — бедность! Вы боитесь бедности, а не с радостью встречаете ее? Бедность вам может принести такое богатство, о котором вы и не мечтаете — богатство мудрости. Кто мудр, тот богаче богатых, богаче царей земных. Человек, живущий в довольстве, трудно воспринимает уроки жизни, и потому он несчастнее бедно-

го. Вот вы в Англии жили — слышали, верно, о знаменитом Роберте Клайве?

Орленев не обратил внимания на то, что старик, оказывалось, знал, по-видимому, многие подробности о его жизни, и в эту минуту ему не показалось это странным.

История лорда Клайва, основателя английского могущества в Индии, бывшего там губернатором и вернувшегося в Англию с несметными богатствами, устроителя «Индийской компании», была известна Орленеву.

— Да, я конечно слышал о Клайве, — ответил он, — и знаю, что он кончил жизнь самоубийством.

— Ну вот видите! Значит, несмотря на все его богатства, жизнь все-таки была тяжела ему, если он решился на такое безобразное дело, как самоубийство. Да один ли Клайв? Человек, — продолжал говорить Гирли, и теперь уже Орленев внимательно слушал его, — независимо от того, богат он или беден, одинаково сгибается под тяжестью своих привычек и материальных благ, если поддается им. Вот вам наглядный пример. Попробуйте поднять этот камень и нести его. И тяжело

вам, и неудобно. Посмотрите, он — кубический, а это самая неудобная форма, чтобы нести ее. Но зато как твердо и прочно вы можете сесть на него, как плотно прилегает он к земле! Так и материальные блага. Взвалите их себе на плечи, попробуйте быть слугой мамоны, и как тяжело вам будет! Но победите ваши желания, подчините себе материю, и вы будете тверды, и ничто не в силах будет поколебать ваше положение. Богатому и бедному одинаково тяжело под бременем материальных привычек и стремлений.

Странный человек был этот старик! То его слова отдавали несомненным безумием, то как будто в них таился глубочайший смысл. Звали его «немцем», а сегодня весь их разговор шел на французском языке, и Гирли не только вполне правильно владел этим языком, но даже выражался на нем с некоторой изысканностью.

— Все это прекрасно, — начал говорить в свою очередь Орленев, — хорошо рассуждать так вот вообще. Но есть положения, из которых почти невозможен выход.

— Таких положений нет и не может быть!

— Ну, вот, например, мое теперешнее, — проговорил Орленев.

Философия старика навела его снова на мысль о себе, и он уже сказал вслух то, что подумал, как бы не заботясь о том, с кем и как говорил.

— Ну, что же ваше теперешнее положение? Вы думаете, что вы зависите от человека, с отцом которого вчера говорили крупно? Вы думаете, что зависите от Платона Зубова?

«Откуда он знает это?» — невольно пришло в голову Сергею Александровичу, и он вопросительно поглядел на старика.

Тот сидел спокойно и уверенно глядел на него, ожидая ответа.

— Да, я завишу от него, — ответил Орленев по инерции, — всецело завишу от него, потому что он — мой начальник теперь.

— Поищите другого.

— Другого, но кого?

— А вот видите ли: истина получается от аналогии противоположностей. Запомните это правило раз навсегда: оно имеет слишком частое применение в нашей жизни.

«Опять он начал что-то запутанное!» — по-

думал Орленев.

Но старик сейчас же объяснил свои слова:

— Вы думаете, что ваша будущность зависит от более сильного, чем вы сами? Ищите этого сильного. Зубов для вас — зло, но зло есть тень добра, которое является светом. Где есть свет — там есть тень, где есть зло — там должно быть и добро. Попробуйте найти вместо Зубова другого человека, его противника, или — вернее — того, кому он противник. Неужели я говорю не ясно?

Орленев понял наконец, о ком ему говорили.

— Потемкин! — произнес он. — Но ведь он меня не знает; как же я пойду к нему?

— Попробуйте!

— То есть как попробовать? Идти так вот прямо к нему?

— Прямой путь всегда самый лучший. Отчего вам не идти прямо к светлейшему и не откладывая даже, прямо сегодня? Идите домой, пошлите за каретой, переоденьтесь и поезжайте.

— Но он может не принять меня.

— Что ж такое? Тогда еще раз поезжайте.

Нужно быть деятельным; нужно работать, чтобы получить что-нибудь, нужно делать дело. Разве нет у вас цели в жизни?

Орленев отвернулся и стал глядеть в сторону молча.

Какая в самом деле была цель у него в жизни? Был он один-одинешенек на белом свете — ни родных, ни близких. Чего он мог достичь? Ну, в крайнем случае, места с жалованьем, которое дало бы ему сносное существование, женитьбы на приличной девице, которая растолстеет после свадьбы и народит ему кучу детей... Вот и все — вот что может ожидать его впереди!

Гирли в это время тихо поднялся со своего места и, слегка наклонившись к Сергею Александровичу, проговорил:

— А помните Лондон, толпу и в этой толпе ту, о которой вы грезили потом несколько раз?

Пораженный, ошеломленный Орленев взглянул на него и мог только прошептать задрожавшими от охватившего его волнения губами:

— Да кто же вы? Да кто же вы такой, что

можете знать это?

Гирли улыбнулся теперь ему в свою очередь.

— Я — полоумный музыкант! — ответил он и, прежде чем успел Орленев опомниться, повернулся и пошел от него.

Сергей Александрович провел рукой по лицу, огляделся, видел удаляющуюся фигуру старика, хотел кинуться за ним, остановить его, но ноги не повиновались ему и сердце так билось, что он невольно схватился за него. Он не мог двинуться.

Когда он пришел в себя и вполне оправился — старого Гирли уже не было видно. Он исчез за деревьями.

V

Потемкин

1

То, что он делал в этот день, и все, что случилось с ним, Орленев помнил потом точно в каком-то тумане.

Он вернулся домой и, как будто находясь под давлением чужой воли, распорядился точно так, как внушал ему старик. Он послал сейчас же за каретой, велел подать себе лучший кафтан и камзол, натянув шелковые чулки, надел туфли с пряжками, выбрал кружево, и не успела еще приехать карета, как он, уже вполне готовый, напудренный и причесанный, ждал ее, ходя по комнатам.

«Ехать так ехать», — говорил он себе, невольно улыбаясь и вспоминая рассказ про попугая, который кричал это, когда его тащила кошка.

Карета приехала. Орленев накинул плащ от пыли, вышел на крыльцо, уселся в экипаж и велел везти себя в Таврический дворец.

По дороге он ощущал то самое чувство, которое испытывает человек, ожидающий выигрыша или проигрыша ставки на карте. Только когда карета въехала на укатанный песком большой двор дворца, ему стало немного жутко, но возвращаться было уже поздно.

Карета остановилась у подъезда, и два гайдука, выскочив из стеклянных дверей его, откинули подножку кареты, распахнули дверцу и под руки высадили Сергея Александровича. Пока все это было хорошо.

Орленев вошел в подъезд и очутился в широких с колоннами сенях, уставленных цветами и растениями, между которыми играла на косых, падавших в высокие окна лучах солнца струя фонтана.

Толстый швейцар в расшитой галунами ливрее заступил ему дорогу.

— Что, светлейшего... можно видеть? — спросил Сергей Александрович и по своему неуверенному тону, которым он сделал свой вопрос, уже заранее предчувствовал ответ.

Швейцар оглядел его, потом, как-то скривив шею, посмотрел ему прямо в глаза и, кач-

нув головой, проговорил:

— Нет!

Орленев покраснел. Ему было совестно тех гайдуков, что высадили его из экипажа, и тех еще, которые стояли тут, в сенях. Их было много, и все они были в богатых ливреях. Он переступил с ноги на ногу и вдруг резко повернулся, как бы в подтверждение того, что он, дескать, и знал, что так будет, и незачем было приезжать.

— Да кто вы будете? — спросил его швейцар.

Александрович почувствовал, что последний прав. Уехать, не назвав себя, точно, этого нельзя было сделать, было неловко и неприлично. Поэтому он обернулся к швейцару и ясно ответил:

— Сергей Александрович Орленев.

Толстое лицо швейцара выразило внимание и некоторое усилие мысли.

— Может быть, доложить секретарю его светлости, господину Попову?

О Попове Орленев решительно не имел никакого понятия.

— Нет, не надо, — ответил он, решив, что

из его легкомысленной, как ему казалось теперь, затеи ничего уже не выйдет и что лучше всего уехать поскорей.

Швейцар был видимо в некотором недоумении. Все проходившие через его владения, то есть сени, в святилище оберегаемого им дворца, делились для него на два разряда. Одни — важные баре, которых он знал всех наперечет и пред которыми нужно было низко раскланиваться и сейчас же сделать распоряжение о докладе, если светлейший принимал; другие — просители. Эти всегда робели при виде его ливреи и окружавших его гайдуков, улыбались заискивающе и просили доложить о себе, если можно, да как-нибудь, и обещали ему благодарность.

Орленев, по своей молодости, а главное потому, что был совершенно по лицу неизвестен, не мог принадлежать к первым. Но и на просителя он не был похож. Он не улыбался, не заискивал, а держал себя совершенно самостоятельно.

Швейцар впал в сомнение: отпустить ли ему этого молодого, как по всему было видно, хорошего барина так, без ничего или посове-

товаться с камердинером.

В это время как раз старый камердинер По-темкина в коричневом полуфраке показался в дверях.

Швейцар подошел к нему, проговорив Орленеву:

— Не угодно ли будет подождать. Сейчас-с.

Сергей Александрович видел, как он назвал его камердинеру, как тот оглядел его, наклонив голову, и повернулся к дверям.

— Лучше бы все-таки секретарю доложить, — сказал ему вслед швейцар.

Почти сейчас же после этого из дверей стремглав вылетел мальчишка-казачок и доложил, стараясь говорить басом:

— Просят!

Швейцар поклонился Орленеву и, показывая рукой на дверь во внутренние комнаты, сказал:

— Пожалуйста!

С Орленевым с утра сегодня случилось столько странного, столько такого, что не входило в последовательность обыкновенной, повседневной жизни, что он перестал уже удивляться дальнейшему.

Теперь он испытывал почти только одно любопытство, как и что с ним будет, когда шел через парадные комнаты светлейшего, провожаемый казачком.

Его провели через ряд этих парадных комнат и остановили у высокой, тяжелой двери. Дверь растворилась и Орленев вошел в кабинет.

Это была большая, поместительная комната с колоннами и множеством столов и столиков, на которых валялись планы, книги, свитки бумаг, тетради. Книги были и по стенам, в шкафах, и на резных деревянных полках.

Потемкин полусидел на диване, между двух колонн. В правой руке у него была книга с крестом в три поперечника на переплете, левую он держал на груди, в кружевах, выпущенных из-за распахнувшейся бархатной ма-

линовой телогреи. У его ног расстилался ковер с каким-то затейливым рисунком, на котором были изображены простертые два человека в черном и красном одеяниях, с зубчатыми коронами на головах.

Было очень малое, отдаленное сходство между портретами Потемкина, которые видал Орленев, и живым их оригиналом, бывшим теперь пред ним, но все-таки Сергей Александрович сейчас же узнал его по орлиному, несколько загнутому вниз, носу и быстрому, устремленному на него взгляду.

Потемкин выдержал его некоторое время молча, пристально вглядываясь в него, а затем проговорил, показывая стул у дивана:

— Ну, поди сюда, садись! Так ты — племянник старого Орленева? Знал твоего дядюшку и уважал его. Ведь ты — его воспитанник?

Орленев решил, что он потом уже будет допытываться и разбираться, кто предупредил светлейшего о его посещении, потому что тот, видимо, был предупрежден об этом, — и старался лишь сосредоточить все свое внимание на том, что ему говорили, чтобы отвечать как можно яснее и толковее. Он ответил, что

он — воспитанник дяди и получил воспитание в Париже.

— А потом жил в Лондоне?

— Да.

Потемкин стал расспрашивать гостя. Они заговорили, и Орленеву эта беседа показалась ничуть не стеснительной. Напротив, он отвечал на вопросы и рассказывал так свободно и просто, как будто давным-давно знал и любил человека, ласково и приветливо принимавшего его.

— Так ты говоришь, что не хочешь служить по дипломатической части?

Потемкин был в том настроении угнетения, которое по временам находило на него. Он запирался тогда у себя в кабинете, никого не пускал туда, лежал целый день не одетый на диване, иногда даже брился не каждое утро. Он принял Орленева по совершенно особому, исключительному случаю, разгадку которого тот нашел гораздо-гораздо позже, и теперь не жалел, что принял его. Молодость и горячность юного посетителя подействовали на него освежающе. Ему приятно было видеть увлечение, с которым, желая ему понра-

виться, говорил молодой человек. Потемкин слушал его и сам вспоминал свою молодость, когда он, веря в жизнь и свое счастье, беззаботно смотрел вперед и не думал о завтрашнем дне. Верил он, оказалось, не напрасно. Жизнь, с людской точки зрения, улыбнулась ему. Но ласкова ли была для него самого эта улыбка? Действительно ли было ему хорошо среди царственной роскоши, которой окружила его судьба? И вот теперь пред ним юный искатель нового счастья, которому предстоит испытание жизни. Он свободен в своих действиях, свободен в выборе средств для достижения намеченной цели... И все-таки не выйти ему из круга, определенного предвечным законом.

— Но все-таки цель-то жизни ты поставил себе? — спросил Потемкин.

— Цель жизни? — как бы задавая самому себе вопрос, переспросил Орленев. — Говорить откровенно... Вы позволяете, ваша светлость?

— Да, да, говори откровенно! Орленев продолжал не сразу.

— Теперь одно у меня желание, — сказал

он наконец, опуская глаза, — но оно — почти сумасшедшее, оно неисполнимо.

— Вот как? Что же это? Сказочная царевна какая-нибудь?

— Почти. Да, я видел в жизни своей раз только девушку, видел ее случайно и не знаю, кто она. Увидеть ее еще раз... Я хочу увидеть ее еще раз, — проговорил Орленев и поднял глаза.

— И ты думаешь, что был бы счастлив тогда? — спросил светлейший.

— Не знаю... наверно, нет. Скорее я был бы еще несчастнее, чем теперь, когда только грежу ей и обманываю себя этими грезами. Мне иногда кажется, что ее нет на самом деле, что я ее видел во сне.

Потемкин задумался, а затем начал вдруг тихо и внушительно:

— Прежде чем сказать, что такой-то человек счастлив или несчастлив, узнай сначала, на что направил он свою волю. Всякий человек уподобляется образу своих дел. Пред каждым в будущем есть добро и зло. Уединись в тиши — внутренний голос заговорит с тобой. Пусть ответит ему твоя совесть... Ну, сту-

пай! — добавил он Орленеву. — Спасибо тебе — разговорил меня.

Сергей Александрович встал и откланялся.

— Постой, — остановил его Потемкин, — я велю списаться с кем следует и возьму тебя к себе... О службе не беспокойся! — и он кивнул ему еще раз на прощанье.

3

Обрадованный, упоенный и восхищенный уехал Орленев от светлейшего.

Сегодня еще, во время своей бессонной ночи в опустелых покоях дядина дома, он чувствовал себя совершенно одиноким, оставленным без родни и друзей. И вдруг все быстро и неожиданно изменилось. В этом казавшемся ему чужим, негостеприимном Петербурге нашлись люди не только готовые отнестись к нему с участием, но даже обещавшие ему свое покровительство. И это покровительство было сильное, способное поддерживать и более слабого, чем он, человека. Напротив, Орленев чувствовал себя теперь особенно сильным и предприимчивым.

Как бы окрыленный своим успехом, он же-

лал поскорее действовать и показать себя на деле.

Теперь самые смелые и даже пожалуй невозможные планы носились в его голове и несбыточные соображения казались логичными и выполнимыми.

Центром этих планов и соображений являлось одно, и это одно была она, его таинственная, милая, неуловимая незнакомка, воспоминание о которой жило теперь уже не в грезе только, а как будто в самой действительности, словно она получила новую плоть и кровь. Сергей Александрович как будто чувствовал ее невидимое присутствие и не остался одинок теперь именно благодаря ей.

У него как-то необъяснимо сливалось все необыкновенное, случившееся с ним сегодня с представлением о ней, точно во всем этом действовал некто другой, как она...

Он ехал в карете, и из ее окон приветливые прежде улицы казались теперь совершенно иными. Ему стоило некоторого усилия мысли (до того он был занят другими) сообразить, что карета везет его домой, туда, где он провел до сих пор столько неприятных часов

в своем одиночестве. И, сообразив это, он почувствовал, что возвращаться в этот угрюмый дом ему жаль, жаль своего приподнятого, радостного настроения.

Он вспомнил, что он ничего не ел с утра, и вспомнил не потому, что ощущал голод, а потому, что это был предлог не возвращаться сейчас домой. Он высунулся

из кареты и велел кучеру ехать к Гидлю. Ему хотелось быть теперь на людях и видеть людей.

В кондитерской Гидля было очень немного народа. В большой комнате у окна какой-то сомнительный господин, с внешностью пети-метра,[1] пил шоколад, да в углу сидело несколько человек, громко разговаривавших и пивших ликер. Среди них Орленев сейчас же узнал троих, бывших у Доронина.

Неизвестно было, узнали они его в свою очередь или нет, но только ни один из них и глазом не моргнул при его появлении. Говорили они не стесняясь о том, что затеял вчера старик Зубов.

— Представьте себе, — рассказывал один, — он нам сегодня и домик показывал:

сейчас, как пройти церковь Сампсония, третий направо, маленький, с виду невзрачный домик; тут она и живет.

— И что же, он хотел серьезно устроить сегодня облаву?

— И весьма серьезно. Старик Зубов не шутит.

— Ну а потом что?

— Ну а потом увезет куда-нибудь, к себе в деревню, и концы в воду.

— Черт знает что!

— Да, молодец! И не боится ничего!

— Да чего же бояться? Вокруг Петербурга то и дело разбои и грабежи. В крайнем случае подговорят кого-нибудь из пойманных душегубов, чтобы сознался, якобы это он, — ему все равно отвечать, — вот и дело кончено, и преступник будет пойман.

— Ловко! — и кругом захихикали.

Действительно, все это было задумано и делалось ловко. В лесу и рощах, окружавших тогда Петербург, было много лишних людей, с которыми власти не могли справиться. Орленев, когда слышал об этом, удивлялся, но теперь, когда ему пришлось быть невольным

свидетелем того, как несколько людей «хорошего», как это называется, круга собирались на разбойничий поступок, сами видимо хорошенько не сознавая того, что делали, — удивляться было нечего. Таково было время и таковы нравы.

Да, может быть, они шутили? Может быть, узнав в Орленеве вчерашнего вспыльчивого гостя Доронина, наговорившего старику Зубову неприятностей, они нарочно, чтобы раздражить его, затеяли этот разговор в кондитерской Гидля?

VI

Два пути

1

«А вдруг это — она?» — пришло в голову Орленеву. Он сообразил это вечером, сидя у себя дома, после того как положительно успокоил себя, что и вчерашняя выходка Зубова, и сегодняшней разговор компании у Гидля было не что иное, как шутка, и больше ничего.

Но, попав на эту случайную, поразившую его вдруг несуразную мысль, он начал фантазировать.

Она, его лондонская незнакомка, была русская. Если она могла попасть в Лондон, отчего же не быть ей в Петербурге? Было у ней что-то такое, что заставляло ее скрывать свое имя, — значит, и в Петербурге ее могли посетить те, кто заставлял ее скрывать имя, так чтобы она жила вдали центра города, где местопребывание ее могло быть незаметно. Для этого домик у церкви Сампсония был очень

подходящим.

«Боже мой, неужели это правда?»

И так как теперь, о чем бы не думал Орленев, для него все соединилось с «ней» одной, то он все более и более стал утверждаться в своем соображении, совершенно забывая, что по тогдашнему времени, сильно проникнутому духом романтизма, такие явления, как его лондонская встреча, были явлениями почти заурядными.

Но раз, как бы попав на удобную ось, мысли его завертелись в известном направлении, и голова у него закружилась.

Он и раньше, — уверься только, что затея этих негодяев (так он себе мысленно называл этих людей) — не шутка, — отправился бы помешать им, но теперь, когда дело коснулось в его воображении «ее», всякие предположения о шутке исчезли.

Он стал собираться быстро, поспешно, точно боялся, что поздний вечер сегодня наступит раньше обыкновенного. Он осмотрел свою шпагу, сунул на всякий случай в карман плаща пистолет, а плащ взял нарочно старый и шляпу надел свою дорожную, такую, кото-

рую давно было пора подарить кому-нибудь из прислуги.

Как именно ехать, он уже знал, выйдя из дома, так как обдумал это заранее.

На Фонтанной он взял у пристани лодочника, и тот вывез его на Неву и пересек реку. На противоположной ее стороне Орленев отправился пешком.

Церковь Сампсония, возле которой была могила казненного Бироном Волынского, отыскать ему было не трудно. Легко, оказалось, также найти и домик, упоминавшийся в разговоре молодых людей в кондитерской. Он действительно стоял третьим от церкви на правой стороне. Значит, говорившие о нем не шутили, а на самом деле видели его.

Домик был низенький, одноэтажный, в пять маленьких окон на улицу, чистенький и опрятный. С одной его стороны были ворота, запертые висячим замком, с другой примыкал забор, из-за которого виднелись деревья сада.

Орленев осмотрел ворота; они были накрепко заперты. Окна домика были опущены и завешаны шторами. Но в заборе, когда Сер-

гей Александрович подошел к нему, он увидел калитку, чуть отворенную.

На улице не было ни души. Орленев толкнул калитку. Она отворилась без шума. Сергей Александрович шагнул в сад.

Сад был густой, поросший сплошной зеленью по краям. В середине были разбиты клумбы с цветами, дорожки расчищены и кусты подстрижены. Видна была работа опытного садовника, содержавшего здесь свой сад так, что мог сделать честь лучшей части Петербурга.

«Ну, будь что будет!» — решил Орленев и пошел направо, по дорожке в сторону дома, где виднелась закрытая вьющимися растениями и цветами стеклянная веранда.

Вообще домик, более чем обыкновенный, даже невзрачный с улицы, здесь, со стороны, закрытой от посторонних глаз высоким забором сада, имел совершенно другой вид — уютный, приветливый, и сколько тут было цветов, и так они искусно были соединены в одну общую красивую декорацию.

Орленев, робея, но с внутренним сознанием того, что он все-таки поступает хорошо,

приблизился к веранде.

Теперь, когда он на самом деле приводил в исполнение рожденный его фантазией план, он уже не думал о том, что встретит здесь «ее». Как ни хороша была обстановка здесь, но все-таки эта обстановка была реальная, а ничего реального, человеческого как будто не могло или не должно было быть вокруг «нее». Поэтому, когда Орленев подошел к веранде и через отворенную ее стеклянную дверь увидел совсем не «ее», а другую — он нисколько не удивился этому.

Она сидела в шелковом розовом распашном пардесю с широкой волнистой оборкой, сидела, глубоко уйдя в кресло, так что ее маленькая, обутая в лакированную туфлю нога была видна довольно высоко, и читала книгу. При появлении Орленева она подняла голову и большими, красивыми глазами удивленно посмотрела на него, видимо не ожидая встретить незнакомое лицо.

Она была нехороша. Кроме глаз, в ее лице ничего не было красивого; черты были неправильны и миниатюрны; но в общем было в ней что-то притягивающее, жалкое и вместе с

тем нахально-смелое.

Первое впечатление при взгляде на нее было неприятное, но оно сейчас же прошло у Орленева, точно под ее взглядом обдало его теплым илом, противным обыкновенно в первую минуту, но затем, когда быстро привыкнешь к нему, очень приятному и бархатному. Он сделал учтивый поклон и заговорил первый, извиняясь за беспокойство, на которое он-де решился в силу особенных причин, потому что имеет сообщить ей нечто важное.

— Что господину угодно? — спросила женщина по-французски, видимо не поняв хорошенько русской его речи.

Она была француженка.

И вдруг Орленеву показалось, что все это, что он делает, не только напрасно, но и нехорошо даже почему-то.

«Как, должно быть, она отвратительна, когда обозлится, и как может быть завлекательна, если захочет обойти кого-нибудь!» — подумал он про француженку.

Он сразу понял, с кем имеет дело, и несколько не удивился тому спокойствию, с которым она отнеслась к внезапному появлению пред ней незнакомого человека.

— Вы желаете сообщить мне нечто важное? Тогда войдите, — проговорила женщина, когда Сергей Александрович повторил ей свое объяснение на понятном ей языке, и, видимо окончательно успокоенная его французским выговором, улыбнулась ему, широко раздвинув рот быстрым движением накрашенных губ.

Она вся была накрашена. Этого требовала мода, так что все, даже горничные, красились; но она была накрашена не так, как все, а какими-то, точно сквозными, гораздо более,

чем обыкновенно, нежными красками, отдававшими слегка в желтый цвет. Только рот был нарумянен ярко, с тщательно вырисованной впадиной над верхней губой. И вся она была пропитана духами мускуса, особенно ощутительными на воздухе, среди нежного запаха окружавших ее цветов.

Все это сразу заметил Орленев, войдя по приглашению женщины к ней на веранду.

— Во-первых, я люблю порядок во всем, — проговорила она снова, когда он приблизился к ней. — Кто вы такой и как вас зовут?

Орленев назвал себя.

— Ваше имя хорошо звучит для ушей, но ничего не говорит сердцу, — рассмеялась француженка. — Но все равно садитесь... Как же нашли вы меня здесь?

— Я не искал именно вас, но я знал только, что тут живет молодая... — Сергей Александрович хотел сказать «девушка», но сказал, взглянув на нее: — женщина.

— Ах вот что! — подхватила француженка, и вдруг ее смеющееся, подвижное лицо стало совсем серьезно, и в глазах у нее явилась совершенно неожиданная поволока.

— Я узнал случайно... — начал было Орленев, но запнулся, чувствуя, что готов попасть в смешное положение со своим предупреждением.

— Что же вы узнали случайно?

— Что на этот дом сегодня ночью будет сделана облава, — договорил Сергей Александрович, краснея и испытывая все сильнее и сильнее неловкость...

— И вы явились предупредить меня об этом?

— Вас или другую, не знаю, но во всяком случае ту, которая живет в этом доме...

— Не зная ее вовсе?

— Совершенно не зная. Я просто хотел предостеречь..

— А меня вы не знаете?

— Нет, не знал до сих пор.

— И никогда не видели?

— Нет.

— Вы разве не принадлежите к числу молодых людей петербургского общества?

— Я лишь недавно приехал сюда, всего несколько дней. До сих пор я жил за границей.

— И сразу попали в романтическое положение?

— По-видимому.

— Ах, как он мил! — вдруг вскрикнула француженка и расхохоталась. — Да, вы очень милы, — повторила она. — Итак, вы впутались в романтическое приключение. — Она откинулась на спинку своего кресла и прищурилась. — А знаете, вы мне очень понравились. В вас есть непосредственность, молодость... Вы много видели женщин на своем веку?

Орленеву, чтобы достойно поддержать себя, оставалось одно только — впасть в такой же игривый тон, каким с ним говорили.

— Зачем вам это? — спросил он, поддаваясь, тону собеседницы.

— Так... Я хотела узнать... Известно ли вам, что иная женщина может не бояться никакой облавы?

— И вы принадлежите к тем, которые не боятся?

— Именно.

— Значит, мой приход совершенно напрасен, хотя, может быть, вам все-таки не лишне

было быть предупрежденной.

— Я и была предупреждена, и приняла свои меры, только раньше вас. Вы опоздали, мой милый кавалер, — и француженка снова звонко рассмеялась. — Но все равно, не в этом дело, — сейчас же подхватила она. — Вы мне понравились и, надеюсь, не пожалеете, что пришли.

— Вы приняли меры? — удивился Орленев. — И калитку оставили настежь?..

— Ведь мы уже решили, что я *не боюсь об- лавы*, значит, знаю, какие меры можно при- нять против нее. Я слишком слаба, чтобы про- тиводействовать силе. Надеюсь, вы не запер- ли калитки?

— Кажется, нет... Даже наверное... Я думал, что сейчас же уйду через нее.

— Ну, сейчас же я не пущу вас. Мне слиш- ком скучно одной в этой берлоге. Да, погоди- те, вы еще не знаете, как меня зовут?

У Орленева все время была одна только мысль в голове: как бы поскорее уйти отсюда. Очевидно, он впутался в какую-то историю, заранее скомбинированную главным в ней действующим лицом, и мог испытать вполне

похмелье в чужом пиру. И какое ему было дело до этой француженки, по-видимому гораздо лучше его знавшей, как поступить в данном случае.

— Меня зовут Маргаритой, — продолжала она, — правда, хорошее имя?.. Знаете что, мсье... как вы себя назвали?..

— Орленев.

— Orleneff, — повторила она, — эти русские имена я никогда не могу запомнить, знаете что, мсье Орленев, здесь становится сыро, пойдете в комнаты. Хотите? — и француженка протянула гостю маленькую фарфоровую табакерку.

Он отказался.

Маргарита взяла щепотку, втянула ее в ноздри, щелкнула крышкой табакерки и повернулась к дверям, говоря:

— Ну, пойдете!

«Отчего же не пойти?» — сам себе как бы улыбнулся Орленев и пошел за француженкой.

Первая комната была отделана в последнем французском стиле Людовика XVI. Они прошли ее. Следующая была по-видимому

столовая. Трудно было ожидать, что в этом маленьком домике, внутри его, могло быть такое убранство; но главное, и этого не мог не заметить Орленев, — это убранство совершенно не соответствовало тому образу жизни, какой могла вести француженка. Оно было слишком скромно и слишком изящно для нее при всем своем богатстве. Только накрытый в столовой на два прибора стол вполне подходил к ее обычаю.

— Это что же? Тоже средство против облавы? — спросил Сергей Александрович на стоявшую среди стола в серебряной вазе бутылку шампанского.

— Это — средство *против и вместе с тем для облавы*, — поджимая губы и приближая свое лицо к его лицу, проговорила француженка. — Я хотела защищаться — теперь буду сама нападать, это очень весело.

— Нападать на кого?

— Ах, конечно на вас!.. Садитесь!

Орленев медлил. После дня, проведенного целиком в мыслях о «ней», святой, чистой, какой она представлялась ему в грезах, после разговора с Потемкиным, оставившего в нем

самое светлое воспоминание, после готовности сделать доброе дело, предупредив несчастную, как он воображал себе, от неминуемой беды (он

никак не мог думать, что в домике на Выборгской застанет то, что застал), ему не хотелось кончать вечер за ужином с француженкой.

— Вы боитесь моего нападения? — серьезно спросила Маргарита.

«Я ничего не боюсь», — подумал он и сел за стол.

3

Пока они сидели за столом, невидимые руки затворили окна с улицы ставнями, а милостивая, в шелковом чепчике служанка внесла лампу в соседнюю, выходящую на веранду комнату, зажгла свечи в канделябре на столе в столовой.

Ужин был вкусно приготовлен. Вино наливала сама Маргарита, говорившая без умолку.

Голод взял свое, и Орленев, ничего почти не евший с утра, и ел, и пил, и слушал болтов-

ню француженки.

Она радовалась тому, что он знает «столицу света» — Париж, что он даже воспитывался там, и вполне понимала, что этот город не может не нравиться кому бы то ни было. Она говорила в свою очередь, что ей нравится Россия, что она нашла здесь много, очень много милых людей и завидует русским «боярам», которые владеют рабами.

— Не правда ли, должно быть, очень приятно иметь рабов. А у вас есть рабы? — спросила она у Орленева.

Сергей Александрович попытался объяснить француженке, что она ошибается, что крепостные в России — не рабы, но ей это показалось скучным.

— Ах нет! — перебила она. — Как же нет рабов, когда с ними можно сделать что угодно?.. Теперь моя мечта получить в России имение, и чтобы там были настоящие мужики... Вы посмотрите, князь Зубов — он совершенно как сюзерен.

— Какой Зубов? Светлейший князь?

— О, про того я не говорю уже! Нет! Даже отец его, этот старый Зубов...

— Вы его знаете?

— О, еще бы! И кто бы на него обратил внимание, если бы он не имел такого могущества?.. Он совсем как сюзерен...

Видно, француженке понравилось это слово, и она повторяла его.

В это время на улице послышался шум.

— Тсс!.. — сделала Маргарита. — Комедия начинается! — Она быстро потушила свечи на столе и опустила гардины у двери в соседнюю комнату. — Вы можете остаться здесь, — прошептал ее голос в темноте, — и следить у гардины за тем, что произойдет сейчас в той комнате. Только ни под каким видом не выдавайте своего присутствия! — и, проговорив это, она раздвинула гардину и вошла в освещенную лампой первую комнату.

Было как раз время, потому что почти вместе с ней с веранды показался, пробираясь и как бы крадучись, старик Зубов.

Нужно было видеть его фигуру, чтобы понять, что это такое, когда он вдруг очутился лицом к лицу с Маргаритой. Казалось, он всего ждал от своей авантюры, но только не того, что нашел здесь. Как вошел он — так и оста-

новился точно вкопанный.

— Вы... вы здесь? — проговорил он наконец, отступая назад.

— Да, я здесь, — ответила Маргарита. — Неужели вы думаете, что от меня могут остаться скрытыми ваши эскапады? Вы конечно не меня хотели найти здесь?

Зубов улыбнулся и, как человек, привычный ко всяким положениям в жизни, сейчас же постарался выйти из своей неловкости, проговорив:

— Однако отчего же вы думаете, что я не хотел именно вас найти здесь?

— Потому что для этого не нужно было ехать на край Петербурга; вы могли прямо явиться ко мне на Морскую, где, вы знаете это отлично, вы — всегда желанный гость.

— Но и вам незачем было тоже ехать сюда.

— Как незачем? Я приехала для того, чтобы поймать вас на месте преступления.

— Ну, слушайте, Маргарита, довольно! — рассмеялся Зубов и сел на кресло, стараясь показать свою развязанность. — Я ведь отлично знал, повторяю вам, что найду здесь вас... Иначе я бы не приехал.

— А, вы знали, что найдете меня здесь? В таком случае зачем же было приводить с собой несколько молодых приятелей, которые вероятно на улице ждут вашего условного знака, чтобы прийти к вам на помощь в случае чего... Хотите, я сейчас позову их? Стоит только выйти мне на веранду и крикнуть...

Лицо Зубова снова выразило растерянность и недоумение.

— А, вам и это известно? — проговорил он.

— Да, мне и это известно. Вы видите, Маргарита осведомлена лучше, чем вы думали. Ну, так хотите, я сейчас крикну, они придут и застанут нас здесь, меня и вас! Согласитесь, будет смешно, что вы собирали их, вероятно наговорили им разных разностей про обительницу этого дома, и вдруг вместо этого они увидят с вами меня, старую их знакомую... ведь я наверно знаю всех тех, которые тут у вас, на улице! — и она сделала движение по направлению к веранде.

— Погодите, — остановил ее Зубов. — Что вы хотите делать?

— Я вам говорю — позвать ваших друзей, всю компанию, а то им там наверно скучно

на улице, а тут будет очень весело, глядя на вас.

— Вы не сделаете этого.

— Отчего?

— Оттого, что это действительно поставит меня в смешное положение.

— А! Ну, хорошо, что сознаетесь, по крайней мере! Ну так вот что: я вас не выпущу отсюда без выкупа...

— Вот как? Какой же выкуп вы требуете?

— Я требую, чтобы вы исполнили давнишнее мое желание.

— Какое желание?

— Вы забыли?

— У вас их столько всегда, что мудрено запомнить.

— Нет, одно, особенное. Вы уже обещали *постараться* исполнить его, ну а теперь обещайте сделать *наверное*.

— Вы говорите об имении?

— Да, я хочу иметь поместье. Сколько раз просила я вас об этом... И теперь, если вы не дадите мне вашего слова, то я выйду на веранду и позову сюда всю компанию... Ну, обещаете? — Маргарита подошла к его креслу,

наклонилась к нему, обвила его шею руками и договорила: — Да? Тогда я буду молчать...

Зубов притянул ее к себе и ответил:

— Ну, будь по-вашему! Я согласен на выкуп.

— Вот это мило, и я опять люблю тебя и прощаю, — обрадовалась француженка, начав ему говорить «ты».

— Ты прощаешь меня? — улыбнулся он. — Но вот что! Объясни мне теперь, каким образом ты здесь?

— А если я не могу объяснить это?

— Но ты знаешь, кто живет в этом домишке. Он очень мило отделан внутри... Ты должна знать, потому что иначе как же ты могла попасть сюда?

— Мои друзья предупредили меня, что ты хочешь променять меня на другую...

— А ты знаешь, кто она, эта другая?

— А ты?

— Нет, иначе я не спрашивал бы.

— Зачем тогда тебе знать? Не все ли равно?.. Можешь быть уверен, что теперь ее слишком хорошо спрятали и сюда она не вернется.

— Кто спрятал?

— Послушай, твои вопросы становятся мне наконец неприятны... Узнавай, если хочешь, но не расспрашивай меня о другой!

— Ты ревнуешь?

— А хотя бы и ревную? — Маргарита снова обняла его и прижалась к нему. — Ну зачем тебе другая, — заговорила она, лаская его, — ну зачем? Разве я нехороша стала? разве ты разлюбил меня... разве тебе я надоела? Тогда скажи прямо и просто — и больше обо мне не услышишь...

Зубов стал успокаивать ее.

Орленев все видел и слышал из-за своей гардины.

Зубов расстался с Маргаритой, подтвердил ей еще раз свое обещание и, порешив на том, что она будет держать в тайне все случившееся, а он не скажет, что видел ее в этом домике, но сделает просто вид, что его приняли тут хорошо и ласково и он не нуждался в услугах своих друзей. Решено также было, что вся компания отправится сейчас же ужинать к французу-ресторатору, а Маргарита приедет тоже туда, как будто ей послал об этом сказать Зубов с нарочным.

Как только Зубов уехал, Маргарита выждала немного, затворила дверь на веранду и распахнула гардину, за которой стоял Орленев.

— Ну, выходите? Хорошо было представление? — проговорила она, таща его за руку.

— Как «представление»? Разве все, что вы говорили ему, было неправда?

— То есть про что именно?

— Но я ведь слушал весь разговор.

— Ну так что ж? Неужели вы могли думать хотя секунду, что я люблю этого старого? Вы гораздо лучше его. Но он мне нужен, — и Маргарита захохотала. — Ну, однако время терять нечего, ведь вы слышали, что меня будут ждать ужинать. Ах, если бы он знал, что ужин, приготовленный для него, был съеден нами! Вот смешно. Ну ничего, пусть поголодает немного — отыграется в ресторане... Знаете, что я могу предложить вам? Я вас доведу в своей карете — вы, верно, явились сюда без экипажа, а у меня тут на дворе наемная карета. Ну, скорей берите ваш плащ, шляпу...

Она говорила и сама накинула Орленеву плащ, надела шляпу; глаза ее горели, волосы, подхваченные прежде лентой, распустились еще при объяснении с Зубовым, и вся она теперь двигалась нервно, порывисто.

Она потянула Орленева из столовой в коридор, из которого был выход на крыльцо, где ей надела ее служанка — суконный плащ с капюшоном, и так, как была, с распущенными волосами, уселась в карету и усадила туда Орленева.

Дверца захлопнулась. Они очутились во

тьме. Шторки были опущены. И в этой тьме Орленев все-таки невольно ощущал сидевшую рядом с ним француженку, наполнявшую все маленькое пространство экипажа запахом мускуса.

Вдруг он почувствовал, что она придвинулась к нему.

— А это было очень хорошо с вашей стороны, что вы пришли предупредить неизвестную вам, — заговорила она, растягивая слова, — это очень благородно. Вы молоды и благородны. Вы мне очень понравились.

— А кто она такая? — спросил он.

— Кто она?

— Да вот та, которую вы заменили на сегодня и не хотели назвать Зубову.

— Вам это интересно?

— Вообще вся эта история очень интересна. Как вы могли узнать все это?

Теперь, вспоминая растерянное лицо Зубова и его несчастный вид пред Маргаритой, Орленев даже чувствовал себя как будто немножко удовлетворенным за нанесенное ему Зубовым оскорбление.

— А как вы узнали о том, что собирается

сделать Зубов? — спросила в свою очередь Маргарита.

— Я узнал очень просто: он хвастал при мне и подбивал несколько молодых людей помогать ему.

— Ну вот, очевидно среди присутствовавших был кто-нибудь...

— Кто рассказал и вам о намерении Зубова? — подсказал Сергей Александрович.

— Нет, кто рассказал о его намерении покровителю той, которая жила в этом уютном домике.

— А, у нее есть покровитель!

— И очень сильный.

— Даже очень сильный?

— Да, такой, который наверное сдержит уж свое слово об обещанном мне имении.

— А разве Зубов не сдержит?

— Конечно нет. Это я так только, на всякий случай, просила у него. Он давно уже обещает. А впрочем, может быть, теперь и сдержит... Тогда у меня будет два имения.

— А вам, значит, с той стороны тоже обещано, со стороны этого покровителя?

— Да, и он сдержит обещание.

— Кто же он?

— Ну, уж этого я вам не скажу! Довольно и того, что я рассказываю.

— А вы эту покровительствуемую видели?

— Нет. Очень мне нужно!

— Значит, с вами просто заключили условие встретить своего покровителя — ведь Зубов — ваш покровитель, насколько я понял, — в таком месте, где он думал найти покровительствуемую другим лицом?

— Вы сообразительны на толкование как добрая, старая госпожа Ленорман![2]

Наступило молчание.

— Ну, здесь я вас выпущу из кареты, и до свидания. Здесь вы можете найти себе лодку, — проговорила Маргарита, после того как они переехали Неву; когда же Орленев выпрыгнул из кареты, не опуская подножки, она высунулась из дверцы и еще прокричала ему: — Так помните же, где найти меня, и я вас жду, непременно жду... Приходите ко мне!

Молодой человек ничего не ответил. Карета тронулась и быстро покатилась, удаляясь в сумраке петербургской летней ночи.

Орленев стоял не двигаясь, скрестив руки и глядя перед собой. Выпитое за ужином вино, разговор француженки, мускус, которым она была надушена, произвели на него одуряющее впечатление. Теперь перед ним было как бы два пути. С одной стороны — манила его к себе чистота его светлой грезы, неясной, неопределенной и таинственной, с другой — влекла к себе эта новая еще для него женщина с распущенными надушенными волосами, вполне реальная, определенная, не допускавшая сомнений и колебаний. Только в сторону этого пути — он чувствовал — направлено оружие возмездия, положенного гением справедливости.

— Железную цепь, — вспомнил Орленев где-то вычитанное им изречение, — разорвать легче, чем опутавшую тебя гирлянду из роз.

VII

Победная колесница

1

Потемкин не обманул Орленева. Через несколько дней последний получил официальное извещение о том, что он назначен адъютантом к светлейшему, и частное письмо от его секретаря Попова, который приглашал к себе Орленева для дачи полной инструкции и объяснения его обязанностей.

Обязанности адъютанта оказались очень несложными. Нужно было, когда приходила очередь дежурить, являться во дворец в особую, назначенную для дежурства комнату и сидеть там на случай, если позовет светлейший, затем исполнять то, что он поручит.

Большинство потемкинского штата осталось в действующей армии, в Турции, а потому в Петербурге возле него было немного народа. Орленев спросил у Попова, не нужно ли ему поехать познакомиться со своими новыми сослуживцами, и тот успокоил, что это —

лишнее, что лучше познакомиться при встрече, на самой службе.

В первое дежурство Сергею Александровичу пришлось рано утром сменить заспанного адъютанта, очень недовольного проведенным им накануне днем в дежурной.

— Слава Богу, наконец смены дождался! — ворчал он не то Орленеву, не то сам себе под нос. — Добро бы дело было какое! А то сидишь целый день точно под арестом; люди гуляют, а ты сиди точно в клетке. Ну, желаю быть здоровым, — обратился он уже к Орленеву непосредственно и ушел, видимо торопясь вырваться на свободу.

Дежурная, в которой остался Сергей Александрович, была низкая комната со сводом и двумя выходившими в сад окнами. В отношении мебели в ней было все то,

что обыкновенно бывает в дежурных всего света: шкаф со стеклянными, затянутыми зеленой материей с исподней стороны дверцами, стол с чернильницей, из которой вылетела муха, когда Орленев тронул ее, кресло кожаное и диван. На стене в золотой тоненькой рамке висела гравюра, изображавшая баталь-

ную сцену с генералом, поднявшим саблю, на огромной лошади, передние ноги которой были подняты колесом, а задние упирались обе параллельно в землю.

Орленев быстро освоился с этой обстановкой, придвинул кресло к окну, поднял последнее повыше и уселся читать захваченную им с собой книгу из числа тех, которыми запасся еще за границей.

«И отлично! — подумал он. — Чего лучше сидеть так, если не тревожат?»

Его действительно не тревожили. И тишина была во всем дворце такая, что, казалось, можно было бы слышать всякое движение даже в отдаленном конце его; но ни движения, ни звука не было во всем огромном помещении.

В час обеда лакей в ливрее светлейшего принес Орленеву на большом серебряном подносе кушанья и вино, и все было очень вкусно и аппетитно подано.

Орленев и не заметил, как прошло время до обеда. Книга была прочитана еще наполовину, она была интересна, и Орленев, пообедав с удовольствием, опять принялся за нее.

Солнце стало уже светить слабее, а Сергей Александрович все читал. Вдруг тот же лакей, который приносил ему обедать, снова появился в дверях и неторопливо, не суетясь, но и не мямля, проговорил:

— Пожалуйста к светлейшему... просят.

Тут только Орленев вспомнил, что он совсем забыл спросить у Попова — как ему идти, если его позовут, с шляпой и перчатками или оставлять их в дежурной? Теперь он на всякий случай захватил с собой шляпу и перчатки.

Его опять провели в знакомый ему уже кабинет, где он был в первое свое посещение, и Потемкин встретил его с приветливой, даже благосклонной улыбкой, именно благосклонной, потому что в том виде, в каком был он теперь, его ласковое обращение иначе как благосклонностью нельзя было назвать. Пред Орленевым был теперь не тот бледный, болезненно-утомленный, но владеющий собой человек, который полулежал тут на диване по-домашнему; нет, пред ним стоял помолодевший, бодрый Потемкин, сиявший и лицом, и осанкой,

и множеством бриллиантов, которыми почти сплошь расшит его шелковый, стоивший видимо сумасшедших денег кафтан. Светлейший был в орденах, в пудреном парике, — словом, в полном параде.

— Покажись, каков ты? — оглядел он Орленева и видимо остался вполне доволен его дорогим заграничным, шитым шелками кафтаном, который конечно был в сравнении с одеянием светлейшего прост и даже беден; но всякая попытка тягаться с этой роскошью была бы смешна. А Орленев именно не был смешон в своем наряде. Этого-то и требовалось.

— Тебе и переодеваться не нужно — так можешь ехать.

Сергей Александрович понял по всему, что светлейший собирался ехать и желал взять его с собой.

— Да, так что ж ты говоришь? — обратился Потемкин к стоявшему тут же секретарю Попову, которого только тут заметил Орленев, ослепленный при входе видом самого Потемкина.

И Попов был совершенно не тот, каким видел его Сергей Александрович у него в канце-

лярии. Там он был медлителен, заметен, а здесь как-то съежился весь, стал маленьким, похудел точно и принизился.

— Он ищет новой милости государыни императрицы, — стал он продолжать видимо начатый еще до прихода Орленева доклад, — и просил ее величество оказать ему новую милость...

— Ну?

— Но так как он взыскан-де и без того выше меры и себе награды не желает, то просит наградить своего отца...

— И какой же наградой?

— Имение.

— Разве есть свободные?

— Купить у вашей светлости. По полученному сообщению, государыня сегодня будет говорить с вашей светлостью о продаже ей могилевского имения.

— Для Зубова?

Попов поклонился в знак подтверждения.

Орленев стоял, слушал, волновался и едва мог сдержать свое волнение. Дело было в том, что он-то лично знал, зачем понадобилось это имение старику Зубову, который, вопреки

предположению Маргариты, на этот раз по-видимому хотел сдержать слово и выпросил у сына, чтобы тот выхлопотал ему подарок. Понятно было, почему и Платон Зубов хлопотал. Ему было важно, чтобы императрица купила у Потемкина имение для подарка его отцу. Это послужило бы новым доказательством усиления его могущества.

И вот в первый же раз, что Орленев находился при исполнении своих обязанностей у светлейшего, судьба посылает ему случай сообщить некоторые сведения о деле, занимающем Потемкина.

Но как сказать, как вмешаться так вдруг в разговор? Или лучше промолчать?

Какой-то внутренний голос подсказывал ему, что не надо говорить, лучше молчать. И он сам сознал это, когда взглянул на лицо Потемкина, — так вдруг изменилось оно. Но это продолжалось лишь мгновение. Так же быстро, как сдвинулись у него брови и углы рта опустились, они разгладились, и Потемкин снова улыбнулся.

— Ну, едем! — сказал он Орленеву и, взяв на ходу шляпу и перчатки, быстрыми шагами

вышел из кабинета.

Сергей Александрович торопился за ним.

2

Орленев конечно не мог сразу сообразить, куда собственно он ехал с Потемкиным, но, судя по одежде последнего и словам Попова о том, что государыня будет сегодня говорить о покупке имения, ясно было, что они едут на какое-нибудь придворное собрание.

Потемкин посадил Орленева вместе с собой в карету.

Шестерня цугом, под крики кучера и гиканье форейтора, быстро несла их по ухабам мостовой. Карета качалась на высоких своих рессорах, и Орленев сидел рядом со светлейшим как в люльке. Он боялся шевельнуться, боялся проронить слово, кашлянуть, чтобы не сделать этим какой-нибудь неловкости. Совершенно не предупрежденный о том, как ему поступать, он не знал, куда они едут и как ему себя держать и что делать. Он решил послушно покориться своей участи — одно, что ему оставалось, впрочем.

Их привезли к подъезду Зимнего дворца.

Два гайдука соскочили с запяток, растворили дверцу и откинули подножку.

Что было потом — Орленев плохо помнил во всей последовательности то, что происходило вокруг него. Он видел за границей общественные сборища, бывал с посольством при дворе в Лондоне, но такой роскоши, такого богатства и вместе с тем простоты и якобы непринужденности ему до сих пор никогда не приходилось встречать. Как в тумане, как во сне прошел он за светлейшим лестницу и залы, полные народом, кланявшимся Потемкину, и очутился сам в этой толпе, все время не выпуская из вида светлейшего, являвшегося для него как бы спасительным светочем в этом море голов, кружев и драгоценных камней. Он видел, как Потемкин подошел к государыне, и видел ее. Она была немолода, но старушкой нельзя было назвать ее. И как проста, как обходительна показалась она Орленеву. Именно такой, как он видел, он и воображал себе ее. Он искал глазами молодого Зубова, но глаза его разбегались, и он, боясь вылезть вперед, невольно теснился к стороне, давая дорогу другим и пропуская их вперед.

Одно, на чем силился он сосредоточить теперь все внимание, был Потемкин. Последний мог подозвать его к себе, и нужно было не пропустить этого момента.

Но не успел Орленев оглядеться, как все в зале заволновалось, и вся блестящая окружавшая его толпа колыхнулась в одну сторону — вслед за государыней, направлявшейся к дверям.

Когда Орленев, не спеша, но повинувшись общему течению, захватившему его, вошел в последних рядах в эти двери, то очутился в театральном зале с мраморными стенами и колоннами, где были расположены амфитеатром обитые зеленым бархатом места. Государыня уже сидела во втором ряду, в поставленном нарочно для нее кресле; впереди нее были два внука, по сторонам — важнейшие царедворцы. Остальшие размещались по собственному усмотрению. Орленев, вместе с некоторыми еще молодыми людьми, остался стоять у двери.

Представление началось выходом двух действующих лиц, которые оказались двумя братьями — индийскими пастухами: стар-

ший, Джаели, был храбр, предприимчив, умен и был вооружен мечом, младший, Нами, нес с собой гусли и терпеливо сносил упреки брата, который уговаривал его бросить глупые песни и взяться за меч, чтобы быть таким же храбрым, предприимчивым и умным, как сам он, старший его брат, Джаели. Нами не спорил с ним. Он, усталый от долгого пути, сел на поросший мягким мхом камень и стал налаживать свои гусли.

В это время декорация, изображавшая лес, раздвинулась, и вместо нее явилось на сцене дикое ущелье. С одной из скал полз огромный змей, готовый поглотить старика брамина, приютившегося в пещере ради поста и покаяния.

Джаели обнажил меч и бросился на змея, не щадя себя, чтобы спасти беззащитного старца. Он одним взмахом отсек змее голову, но только что отнял меч свой, как у пораженного им чудовища явились две головы. Джаели ударил по ним, и у змеи выросло четыре головы; и так, чем чаще поражал его Джаели, тем больше выросло голов у змея и тем с большей яростью кидался он на своего про-

тивника. Наконец стал изнемогать несчастный Джаели, выронил меч из рук, и на него, безоружного, бросился змей.

В это время Нами, наладивший свои гусли, заиграл на них, и змей остановился. Сильнее зазвучали гусли Нами, шевельнулось чудовище и дрогнуло. Нами продолжал играть, и песня его творила чудо. Змей приник всеми своими выросшими от меча головами и, медленно колыхаясь, пополз прочь, в бездну ущелья. Нами продолжал играть до тех пор, пока слышался стук железной чешуи змея о камни, повторяемой эхом.

Тогда приблизился к братьям спасенный ими от змея брамин и сказал, что хочет отблагодарить их. Пусть каждый из них выразит одно какое-нибудь желание, и, каково бы ни было это желание, оно исполнится благодаря средству, которое он дает каждому из них.

Он обратился к младшему брату, к первому, чтобы узнать его желание.

— Мое желание будет то же самое, что и у моего брата — пусть он скажет свое, — ответил Нами. — Он умнее и храбрее меня. Я по-

желаю того же, что он, а сам — боюсь ошибиться.

Тогда брамин обратился к Джаели.

— Если ты можешь мне дать такое средство, — сказал тот, — то одно у меня желание, чтобы все мои желания исполнялись!

Подивился Нами хитрости своего брата. Тот действительно нашелся ответить так, что впоследствии не придется жалеть, что тогда-де, когда был случай, не пожелал того или этого. Поймал он брамина!

Но тот ответил:

— Хорошо. Пусть будет по-твоему, если ты думаешь, что это даст тебе счастье.

— О, счастлив-то я буду, если все мои желания станут исполняться! — проговорил Джаели. — Давай нам теперь твое средство.

Брамин вывел из пещеры двух девушек, как две капли воды похожих одна на другую, только первая была одета в белые одежды, затканые серебром, а вторая — в точно такие же, но черные и затканые золотом.

— Это две мои дочери, — сказал брамин, — та, что в белом платье, зовется Бедностью, та, что в черном — Богатством...

— Быть не может, чтобы бедность и богатство были похожи друг на друга как две капли воды, — воскликнул Джаели. — Черное никогда не станет белым.

— Потому-то они и одеты в разные платья, — снова ответил брамин. — Вот пусть каждый из вас полюбит одну из них, и тогда исполнится то, что вы потребовали от меня. Выбирайте, которая кому достанется.

— Что же тут выбирать? — сказал Джаели. — Так как я выразил желание первый, то и преимущество за мной. Я беру себе богатство.

— Тебе, значит, осталась бедность, — обернулся брамин к Нами.

Тот не возражал и согласился взять себе бедность.

Действие переносилось затем в чертоги Джаели, который стал царем и обладателем несметных сокровищ.

Брамин не обманул. Все, что бы только не пожелал Джаели, все являлось у него благодаря его жене, которая называлась богатством и которую он любил.

Много лет прошло с тех пор, как он и брат

разошлись, получив от брамина в дар его дочерей, но в эти года не успел еще пресытиться Джаели. Желания одно за другим являлись у него, как вырастали головы у змея, от которого он спасал брамина. Чуть покончит с одним, удовлетворит одно желание, как являются у него новых два, и так чем больше, тем больше, и все не мог он найти себе удовлетворение.

Дворец у него был выстроен весь из драгоценных камней. Ни куска железа или другого какого-нибудь металла не было в нем — одно только чистое золото. Всякие фрукты, корни и живность пробовал он есть. Надоели они ему. Пожелал он найти удовольствие в небывалой еде и стал есть червей, слизняков и разных гадов морских. И это наскучило ему. Всякие наслаждения испробовал он и выдумывал себе новые, одно безобразнее другого, и все исполняла его жена, но все ему было мало. Наконец уже, казалось, и желать было нечего. Джаели не мог ничего сам придумать, но все-таки воображал, что есть на свете счастливый человек, который имеет нечто такое, чего у него нет, но что даст ему счастье,

которого у него нет. И пожелал он увидеть пред собой счастливого человека, каким не мог считать себя сам.

И только что пожелал он этого, как явился пред ним младший его брат Нами.

Скромная одежда брата, его неизменные гусли и даже голова непокрытая удивили Джаели. Начал он горько жаловаться, что видно брамин обманул их обоих.

— Отчего ты так думаешь? — спросил Нами.

— Оттого, что до сих пор, правда, все мои желания исполнялись, но вот пожелал я сегодня видеть пред собой счастливого человека, у которого есть такие богатства, каких у меня нет, чтобы спросить у него, что мне пожелать себе для счастья, и вдруг вместо него являешься ты в таком виде, что ясно каждому, что во всю твою жизнь не исполнилось ни одного твоего желания. Значит, брамин обманул тебя. Обманул он и меня, потому что вот не исполнилось мое желание видеть счастливого человека, а все остальное — пустяки пред этим.

— Нет, — возразил Нами, — брамин не об-

манул ни тебя, ни меня. Ты видишь пред собой действительно счастливого человека.

— Значит, и твои все желания исполнялись до сих пор? — спросил Джаели.

— И да и нет, — ответил Нами, — мои желания не исполнялись, но брамин сдержал свое слово.

— Как же это так? — спросил Джаели.

— У меня не было желаний. Моя жена — бедность, которую я полюбил, — приучила меня не иметь их вовсе. И, не имея желания, стал я счастлив, и ты видишь пред собой того именно человека, которого желал видеть.

Джаели отпустил брата с дарами, но тот тут же раздал их придворным.

Отпустив брата, он стал спрашивать себя, не поступить ли и ему так же, то есть не пожелать ли ему, чтобы и у него не было желаний? Но жена его — богатство — стала говорить ему, что это-де он всегда успеет, а пусть лучше подумает, — может быть, и придет ему на ум такое, что даст ему счастье.

И надумал Джаели вот что: так как он все имел в этой жизни и все испытал, то он захотел умереть на минуту, чтобы посмотреть,

нет ли в загробном мире чего-нибудь такого, что даст ему счастье. Захотел — и умер! Но только не на минуту, а навсегда, потому что чары брамина были действительны только для живого, но не для мертвого. Как ни старалось богатство воскресить его — ничего не помогло. Мертвый он не нуждался в услугах богатства.

После смерти Джаели народ собрался для выборов нового царя. Не знали, на ком остановиться, и решили обратиться к жившему в пещере старику брамину за советом.

Брамин дал народу великолепную колесницу с голубой покрывкой в звездах, поддерживаемой четырьмя колоннами. На передке ее был изображен крылатый шар. Запряжена была колесница двумя живыми существами с человеческими головами, туловищем быка, орлиными крыльями и лапами льва. Одно из них было черное, другое — белое. Брамин сказал, что пусть едет эта колесница, и тот, кого привезет она, — тот и будет царь.

Представление кончилось апофеозом, в котором Нами въезжал на этой колеснице с мечом и скипетром в руках, в латах, с венцом о

трех пентограммах на голове. Он являлся царем, потому что ему принадлежала высшая власть разума, то есть свет, освещающий тайну жизни.

— Воля справедливого человека, — говорил он, — есть отражение божественного Промысла, и, по мере того как она укрепляется, она управляется явлениями!

3

По окончании представления государыня с великими князьями, а за ними и все общество, перешли в отдельный зал, где были приготовлены ужин и чай. Царская фамилия ужинала за отдельным столом с золотым сервизом. За этим же столом поместились важнейшие придворные — Потемкин и оба Зубова, отец и сын, в их числе. Остальные ужинали, стоя у открытых буфетов.

Теперь Орленев несколько огляделся и освоился с окружающей его обстановкой.

Вероятно, уже узнали, что он — новый молодой адъютант при светлейшем, приехавший с ним, и многие подходили к нему с ласковым словом. Несколько стариков подозва-

ли его к себе и, узнав его фамилию, спрашивали, не племянник ли он недавно умершего старика Орленева, а когда он подтверждал это, поднимали брови и говорили: «А!.. Уважаемый человек был». Двое-трое молодых людей развязно приблизились к нему и напомнили, что они встретились вечером у

Доронина. С ним познакомился Елагин — по-видимому очень важный и почтенный человек.

Старик Зубов, которого тотчас же узнал Орленев, случайно или нарочно не глядел в его сторону и не замечал его.

Потемкин несколько раз вскользь отыскивал его глазами, точно желая убедиться, как он держит себя, а главное, как относятся к нему окружающие. Казалось, он, привезя с собой молодого, никому не известного адъютанта, делал своего рода испытание своей силы. К нему самому, конечно, никто не смел отнестись не только с пренебрежением, но даже просто непочтительно, однако по тому, как примут молодого, появившегося с ним Орленева, можно было судить о том, насколько было у него теперь приверженцев при дво-

ре. По-видимому все шло хорошо, и светлейший был доволен и тем, как держал себя Орленев, и тем, как относились к нему.

Ужинали собственно за тем столом, где была государыня. Кругом же ели мало, а толпились только поближе к царскому столу в почтительной тишине, чтобы не проронить ни слова, которое будет сказано там, и изредка обменивались шепотом фразами, выражавшими то или другое наблюдение.

Зубов сидел нахмуренный и недовольный. Потемкин, напротив, казался в отличном расположении духа и держал себя молодцом.

Ужин уже подходил к концу, когда государыня, заговорившая с ним несколько раз и прежде, вдруг снова обратилась к нему:

— Продай мне твое могилевское имение...

Орленев, весь вечер ожидавший этого момента и боявшийся пропустить его, весь обратился в слух и внимание, так и впившись глазами в светлейшего.

Потемкин не выдал себя ни малейшим движением своего гордого, неподвижно поднятого лица. Он и бровью не моргнул.

— Я не могу, к сожалению, сделать это, —

ответил он, склоняя голову.

Яркая краска покрыла щеки императрицы.

— Отчего? — переспросила она.

— Имение уже продано мной сегодня.

Орленев с замиранием сердца следил, что происходило в это время с Зубовым.

Но он никак не мог ожидать того, что последовало дальше.

— Кому продано? — удивилась государыня.

Потемкин, ясно произнося слоги, с новым наклоением головы ответил:

— Какой-то иностранной подданной Маргарите Дюваль.

Старик Зубов покраснел, потом смертельная бледность покрыла его щеки. Он начал было усиленно есть, но так стукнул ножом о тарелку, что обратил общее на себя внимание.

Императрица поглядела на светлейшего и медленно перевела взгляд на старика Зубова. Казалось, она поняла, что тут есть что-то, в чем замешан он, и больше не проговорила ни слова относительно имения.

Не многие из присутствовавших поняли,

что значит ответ Потемкина; только Орленев видел ясно и мог себе представить, каково теперь было Зубову.

Вскоре после этого государыня встала из-за стола, и начался разъезд.

Только когда вернулся Орленев с Потемкиным назад во дворец и увидел его снова у себя в кабинете, быстро расстегивавшим свой шитый камнями камзол, он понял по его вдруг опустившемуся, измученному, болезненно страдающему лицу, чего стоила светлейшему его молодцеватость и бодрость, с которыми он держался сегодня во дворце.

Но из всего виденного и слышанного сегодня он вынес еще одно наблюдение.

Конечно, Маргарита Дюваль была та самая француженка, с которой он лично имел уже странный случай знакомства. Конечно, она не покупала и не могла купить имение у Потемкина. Он подарил ей последнее, или, что вернее, подарит завтра же утром, совершив на него законную купчую крепость.

Сообразив все это, Орленев знал теперь, кто был «покровитель» той, которую заменила в домике Маргарита и про кого она говори-

ла, что «ЭТОТ НАВЕРНОЕ ИСПОЛНИТ СВОЕ ОБЕЩАНИЕ».

VIII

На весах счастья

1

После появления Орленева во дворце вдруг точно заметили его, как будто он только что приехал в Петербург, а до того никто и не подозревал о его существовании.

Теперь начали к нему заезжать. Между прочим явились Доронин и те молодые люди, которые напоминали о себе Орленеву во дворце. Он получил несколько записок, и между ними одну от Елагина. Нужно было ответить на визиты, и мало-помалу жизнь Орленева завертелась и пошла обычным для всех молодых людей чередом.

В одно утро принесли ему записку. Запах мускуса, которым она была пропитана, сразу напомнил ему о чем-то недавнем и не то что бы неприятном, но о таком, что не хотелось ему вспоминать.

Записка была от Маргариты. Она напоминала Сергею Александровичу его обещание

приехать к ней и настаивала на том, чтобы он непременно исполнил это свое обещание. Тон был очень милый и ласковый.

Орленев задумался. Он тогда же еще, после первого знакомства с ней, решил, что незачем ему бывать у француженки, покровительствуемой Зубовым, и что это даже неудобно для него в его новом положении адъютанта при Потемкине. Но теперь он задумался, потому что поймал себя на где-то спрятавшемся в самой глубине его души чувстве, бывшем — он должен был сознаться себе — истинной причиной, почему он не хотел ехать к ней.

Это чувство было страх. Как ни неприятно ему было это, как ни не похоже это было на него, но француженка произвела на него своего рода впечатление: она не то что понравилась ему, но как бы манила к себе и дразнила молодое, еще не запятнанное развратом воображение.

Теперь, когда была получена записка от нее, сильно пахнувшая ее духами, пред Орленевым воскрес во всех своих подробностях весь вечер, проведенный им с ней.

Во весь этот вечер не случилось ничего такого, что нужно было бы скрывать от своей совести, но все-таки воспоминание оставалось, как о чем-то смутном и недолжном, а главное — о таком, что может затянуть и привлечь к себе. Эта-то возможность увлечения и была причиной того страха, который открыл в себе Орленев.

Заметив в себе этот страх, он начал спрашивать себя, неужели действительно он боится какой-то безобразной (он силился уверить себя, что она безобразна) Маргариты и робеет увидеть ее.

И вот чтобы испытать свою волю, потому что, по его мнению, не тот соблазн побежден, который обходишь, а тот побежден, которому идешь навстречу и не поддаешься, — он решил, что сегодня же отправится к французке.

В тот же день вечером он постучал молотком у ее двери, по старинному французскому обычаю привешанным тут для того, чтобы гости могли дать знать о себе прислуге.

Отворила ему та же горничная, которую он видел в домике близ церкви Сампсония, и

пошла докладывать о нем.

Орленев думал, судя по полученной записке, что его сейчас же примут и что Маргарита выбежит к нему навстречу, но горничная пропадала довольно долго, потом вышла, провела его в гостиную и просила подождать здесь.

Оставшись один, Сергей Александрович прошелся несколько раз по комнате. Он чрезвычайно не любил ждать так вот, один в комнате, выхода хозяина или хозяйки, когда приезжал к кому-нибудь. Время, казалось ему, тянулось тогда непростительно долго. Он кашлянул несколько раз, опять прошелся по комнате.

Обстановка этой комнаты — совершенно не так, как на Выборгской, — вполне соответствовала жилищу, в котором должна была помещаться Маргарита. Интересны у нее были только часы на камине. Они были темной бронзы с фигурой Фемиды наверху, с ее атрибутами — мечом в правой руке, весами — в левой и повязкой на глазах. На циферблате были изображены звезды с французской надписью вокруг: «Разумные существа, чья воля

не уравновешена, подобны падающим звездам».

2

Часы показали семь. На улице было еще совсем светло.

За разглядыванием этих часов застала Орленева Маргарита, когда она вышла наконец к нему.

— А, вот это очень мило! — проговорила она выходя. — Очень мило с вашей стороны, что вспомнили наконец... Благодарю вас. Ну, садитесь!

Сергей Александрович невольно удивился такому приступу, будто инициатива его посещения шла вовсе не от Маргариты, а, напротив, он явился к ней по собственной воле и желанию.

— Да, я получил вашу записку, — заговорил он, сядясь против нее, — и вот приехал благодаря вашему вторичному приглашению.

— Записку? — в свою очередь удивилась Маргарита. — Какую записку?

— В которой вы напоминали мне о моем обещании приехать к вам и повторяли свое

приглашение.

Маргарита рассмеялась.

— Милая выдумка! — сквозь смех проговорила она. — Очень милая, право! Но только зачем вам было, говоря по правде, выдумывать целую историю с запиской, когда вы и так могли бы приехать? Я сказала вам, что вы — всегда желанный гость у меня.

«Дурачит она меня или нет?» — невольно подумал Орленев, по всему однако видя, что удивление Маргариты было неподдельно и естественно, а смех совершенно искренний.

— Однако я получил от вас записку, — несколько сконфуженно произнес он и провел руками по карманам, чтобы убедиться, нет ли случайно этой записки у него с собой.

— Ну хорошо, ну не все ли равно? — успокоительно сказала Маргарита, очевидно не веря ему. — Ну приехали, и я очень рада... Ну и будемте разговаривать. Вы знаете, я получила имение, целое огромное имение.

— Я знаю, — невольно вырвалось у Орленева, и вырвалось потому, что в это время он думал о том, что непременно нужно будет привезти или прислать Маргарите получен-

ную им записку, чтобы доказать, что он не лгал, и выяснить эту историю.

— Вы знаете? Откуда вы знаете? — стала она спрашивать.

— Что?

— Что я получила имение? Вы сказали сейчас, что знаете это.

— Да, то есть я предполагал, — спохватился он. Не объяснять же ему было в самом деле ей все то, что происходило в кабинете у Потемкина и потом за ужином во дворце. И, чтобы окончательно сделать вид, что ему ничего не известно, он спросил: — От кого же вы получили подарок, от Зубова?

— Нет, с Зубовым у меня все кончено. Я его больше не принимаю у себя. Я получила от другого. Помните, я говорила вам, что этот сдержит свое слово. Теперь это уже не секрет, и я могу назвать вам его. Это Потемкин.

Орленев и без нее уже знал, что это Потемкин.

— Отчего же вы не принимаете у себя Зубова? — спросил он.

— Оттого что я богата теперь и не нуждаюсь ни в ком. Я теперь свободна как ветер.

— Что же, думаете вернуться во Францию?

— Зачем?.. Мне и здесь хорошо. И потом мое имение. Теперь я ищу управляющего. Мне нужен честный человек, а сама я ничего не знаю и конечно не могу управлять. Говорят, имение богатейшее. Ваш Потемкин — удивительный человек. Это в полном смысле слова сюзерен, не то что какой-нибудь старик Зубов. Я не могла никогда ожидать такого богатства. Мне обещал этот добрый старичок найти управляющего.

— Какой старичок?

— Тут музыкант один, его называют полонезом, но он вовсе не такой, каким кажется. Он только странный очень...

— Гирли? — спросил Орленев.

— Да, его зовут Гирли. А вы его знаете?

— Немножко. Он действительно странный, но играет он превосходно... Вы слышали его игру?

— Да, я слышала его игру... Да и не одну игру — говорит он иногда еще лучше, чем играет. Недаром ваш князь...

— Какой князь?

— Потемкин.

— Почему же он мой?

— Ну, я говорю вообще — русских князь. Ведь вы же — русский...

— Так что же «недаром»?

— Да! Так я и говорю: недаром ваш Потемкин приблизил его к себе.

— Кого? Гирли?

— Ну конечно!

Орленев так и встрепенулся весь.

— Ради Бога, откуда вы знаете это? — заговорил он. — Откуда вам известно, что этот музыкант близок князю Таврическому?

— Ах Боже мой! Откуда? Очень просто — через него я получила мое имение!..

Как повязка упала с глаз у Орленева. Теперь ему вдруг стало ясно многое. Если старый Гирли был близок к Потемкину, то понятно, кто рассказал о нем светлейшему и кто рекомендовал его последнему; он понял, почему с такой уверенностью подсказал ему старый музыкант идти к Потемкину, и ему стало ясно, что этому Гирли было известно о домике на Выборгской и что он-то, слышавший вместе с ним, Орленевым, о готовящейся облаве, рассказал обо всем кому нужно, что-

бы были приняты нужные меры.

— Каким же образом вы получили через него имение? — спросил Орленев.

— Через него велись все переговоры. Он мне рассказал историю, которую предполагали сделать эти милые люди, и предложил встретиться там моего знакомого Зубова. Сначала это просто понравилось мне, как приключение: мне хотелось просто наказать неожиданностью этого старика и посмотреть, какое он сделает лицо, когда увидит меня там. Потом, когда я узнала, что тут замешан великий, — она говорила по-французски и сказала: «le grand», — Потемкин, который обещает мне за это целое имение, это мне начало еще больше нравиться... Я, разумеется, согласилась. Затем в назначенный день приехал ко мне Гирли в карете, в которую мы сели с моей горничной и отправились. Гирли сказал, что кучер кареты знает, куда нас везти. Нас привезли в тот домик с хорошеньким садиком и верандой, в котором вы меня застали. Дальше вам известно все.

— И в домике вы никого не видели?

— Нет. Так было условлено. Ужин был уже

приготовлен, тоже по условию.

— Однако вы очень смело доверились! Вас могли завезти неизвестно куда!

— О нет! Я могла верить Гирли. Я его знаю.

— И давно?

— С тех пор как я в России... около двух... лет, — поправились она, — два года с лишком...

— И он внушил такое доверие к себе?

Орленев расспрашивал про музыканта с особенным интересом, потому что видел в нем лицо, имевшее уже отношение к его собственной судьбе.

— Видите, — вдруг проговорила совершенно серьезно Маргарита, — это единственный человек, который говорит со мной как с человеком и не видит во мне женщины... то есть по крайней мере не относится так обидно-оскорбительно, как остальные мужчины.

Сергей Александрович в этот свой второй разговор с Маргаритой заметил в ней огромную перемену. Она была совсем другая и держала себя совсем иначе. Подействовало ли на нее получение вдруг целого состояния, или она просто была настроена так сегодня, но

только при последних ее словах она даже жалка была как будто. Неужели она искренне ценила человеческие к себе отношения старого музыканта?

— А вы разве не всегда чувствовали себя счастливой? — спросил Орленев.

Маргарита действительно была настроена сегодня сентиментально. Теперь, когда счастье улыбнулось ей и она могла, благодаря свалившемуся ей вдруг состоянию, не беспокоиться за свое будущее, она особенно живо ощущала потребность высказать хотя маленькую часть той горечи, которая накопилась у нее в течение всего мнимого и напускного веселья ее жизни.

— Как вам сказать? — протянула она на вопрос Орленева. — Разве с детства не знать, что значит материнская ласка, и не видеть отца, и потом эта ужасная скитальческая жизнь... разве это можно назвать счастьем? Вы никогда не слыхали, живя в Париже, о процессе доктора Дюваля? — вдруг, подняв голову, спросила она.

Сергей Александрович сказал, что не слышал.

— Да, это было гораздо раньше того, как вы приехали в Париж. Правда. Ну так я вам расскажу, в чем дело.

Орленев выжидательно посмотрел на нее.

3

— Мой отец, — начала рассказывать Маргарита, — доктор Дюваль, жил в приморском городе Тулоне, в маленьком трехэтажном доме. Собственно, в этом доме было два этажа, а третий был мезонин в одну комнату, где помещался рабочий кабинет отца. Он был хирург. Тут у него лежали его инструменты, препараты и книги. Говорили, что он дурно жил с моей матерью, и она часто уезжала в Пиренеи, куда посылали ее для поправления здоровья. Она часто хворала. При отце оставалась служанка, постоянно ходившая за ним, умевшая обращаться с его инструментами, изучившая его привычки и угождавшая ему. В одно утро эту служанку нашли мертвой в кухне, помещавшейся в нижнем этаже дома. Вход в помещение был через эту кухню, со двора. Отсюда шла лестница в жилые комнаты второго этажа и в мезонин к

отцу. Отец имел обыкновение просиживать иногда целые часы у себя в кабинете за работой и при этом отдавался ей весь, никуда не выходил, и никто не смел мешать ему. Мертвую служанку увидела прачка, принеся белое белье. Она бросила свою корзинку и побежала в полицию заявить о случившемся. Полицейские явились сейчас же. Они нашли служанку лежащей на полу без признаков жизни. Прямо в ее сердце, с видимым званием анатомии, был воткнут оперативный нож, почти до самой рукоятки. Лежала она, видимо, упав навзничь, головой к входной двери. Я вам нарочно рассказываю все подробности, потому что помню их слишком хорошо. Я перечитывала впоследствии сколько раз процесс моего отца, так что почти выучила наизусть его описание. О нем много писали в газетах того времени, я их впоследствии разыскала и купила за большие деньги. Смерть служанки была мгновенна, потому что удар попал в самое сердце. При ее падении хлынула кровь из раны, образовавшая небольшую лужу на полу возле трупа. От одной лужи шли следы окровавленных сапог не к выходной двери, а к

двери, которая вела во второй этаж на лестницу и в кабинет отца. Следы были видны и на лестнице, где они пропадали, потому что кровь, видимо, обтерлась уже с сапог. В кухне, за дровами, нашли носовой платок, весь пропитанный кровью, с меткой первоначальных букв имени моего отца. Платок несомненно был его. Дверь в кабинет отца нашли запертой. Он был у себя в кабинете.

— Неужели это он убил? — невольно спросил Орленев.

Но Маргарита как бы не заметила его вопроса.

— Затем, — продолжала она, — было известно, что отец утром выходил из дома к больному. Сапожник, живший наискось, видел, как он вернулся и как вскоре после этого, почти сейчас же, вышел из их дома матрос, очевидно приходивший в гости к служанке. И она выходила провожать его. Сапожник видел это. После этого все было тихо. Сапожник пошел отнести работу заказчику, а когда вернулся — увидел уже полицию и народ. Больше никто ничего не видел и не знал. Отец отрицал всякое свое участие в преступлении,

но все улики сложились против него. Выбор места для нанесения раны, безусловно смертельной, мог сделать только опытный врач, и удар был нанесен верной рукой, не ошибившейся, а поразившей прямо в сердце, анатомически правильно. Окровавленный платок, найденный за дровами, принадлежал отцу. Мало того — примерили башмак отца к окровавленному следу, который шел по направлению к его кабинету, и башмак пришелся как раз по следу. Все свидетельствовало против него. Оставался только мотив преступления. Следствие не задумалось над этим и нашло этот мотив. Приписали убийство чувству ревности. Решили, что отец застал у служанки матроса, которого видел сапожник, и, приревновав к нему, убил ее. Матроса не нашли. В этот день был попутный ветер, и несколько кораблей ушло в море; вероятно, с одним из них ушел и этот матрос.

— Ну и что же? — спросил Орленев.

Он все думал, что в рассказе Маргариты явится что-нибудь неожиданное, такое, что сразу перевернет ход всего события. Оказалось, однако, что ничего подобного не произо-

шло.

Отец ее был обвинен в убийстве и казнен. Мать ее, бывшая во время его преступления в отъезде, не пережила случившегося с ней горя и умерла, дав жизнь своей дочери, Маргарите. Родив дочь, она скончалась в тот же день. Таким образом с детства Маргарита не знала семьи и росла у чужих людей из милости. Родных у нее не было, так как отец ее был не знатного происхождения, а выбился сам благодаря своим познаниям. Никто не знал даже, из какого местечка или города он родом.

Так прошла в нищете и в притеснениях жизнь Маргариты, пока она не стала тем, чем была, то есть авантюристкой, не особенно разборчивой на добывание средств для жизни.

Рассказывая про себя, она конечно по возможности представляла себя в лучшем виде, несколько сгущая краски испытанного ей, но и само по себе это испытанное имело в себе столько горя, что могло вызвать жалость к бедной, оставленной на произвол судьбы женщине.

Орленеву было искренне жаль ее.

— Ну, по крайней мере теперь ваши испытания кончились, — сказал он, — теперь вы имеете состояние. Судьба улыбнулась вам и случай помог.

— Да, — ответила она, — случай... Гирли говорит, что ничего случайного не бывает.

«Ну, не подвернись тут особых обстоятельств, никогда бы Потемкин не дал этого огромного имения», — подумал Сергей Александрович и проговорил вслух:

— А, значит, вам тоже приходилось беседовать со старым Гирли?

— Да, и я часто, в особенности в последнее время, долго думала потом одна о том, что он говорит. Вот он мне сделал подарок, чтобы я чаще вспоминала наши беседы, — и она показала на часы, которые заинтересовали Орленева при его приходе.

— Эти часы подарил вам Гирли?

— Да. Вот вы сказали «случай», — продолжала Маргарита. — Гирли говорит, что всякое действие имеет свою реакцию. Воля человека должна предвидеть противодействие обратных сил, чтобы выдержать их толчок или све-

сти на нет. Ничего не делается случайно.

Орленев видел, что Маргарита вовсе не глупа и во многом не похожа на тех женщин, которых ему приходилось встречать до сих пор.

— Скажите, — спросил он снова, — вы много читали?

— Кажется, много. Я очень люблю читать. Мне и теперь постоянно привозят книги и журналы из Парижа. Вот на днях еще один из знакомых молодых людей привез целый ящик. Я разбирала его, когда вы пришли... Да, знаете, — вдруг опять с некоторым оживлением заговорила Маргарита, — у меня все всегда бывает порывами. Иногда мне кажется, что я всех ненавижу, что все гадко, и тогда я нарочно бросаюсь в веселье и стараюсь под видом ласки сделать зло каждому. Тогда, когда мы в первый раз увиделись с вами, мне и вам хотелось сделать только одно зло. Сегодня, напротив, я в совершенно другом настроении.

Часы, стоявшие на камине, пробили десять.

Орленев и не подозревал, что он около уже

трех часов сидит здесь.

— Странно, — проговорил он, взглядывая на часы, — зачем на них изображена Фемида с ее весами?

— Весами? — повторила Маргарита. — Вы не знаете, что значат эти весы? Гирли говорит, что победить пройденные препятствия — только половина еще задачи человека; чтобы решить ее вполне, нужно установить равновесие сил.

— Каких сил?

— Своих. Это и означают весы. Будущее колеблется, как они, между злом и добром. Нужно сообразоваться с сущностью правды и суда вечного и стараться не иметь дела с судом человеческим.

При этих словах Орленев боялся, что разговор снова коснется ее больного места — преступления ее отца, от воспоминания о котором он постарался уже отклонить ее, и он хотел новым вопросом свести речь на что-нибудь другое, но Маргарита не дала говорить ему...

— Вот я вам рассказала о моем отце, — начала она, как бы угадав его мысли, — он был

обвинен и подвергнут ужасу казни. Но он до самой последней минуты отрицал свою виновность... И знаете, несмотря на все говорящие против него улики, я не верю, чтобы убил он... Я не знаю, как это могло произойти, но только не верю...

Орленев понимал, что только это и оставалось ей. По тому, что она рассказала, трудно было сомневаться в том, что доктор Дюваль действительно убил свою служанку. И нельзя даже было найти хоть какой-нибудь зацепки, чтобы утешить ее. И он вынужден был молчать, не зная, чем подтвердить ей ее весьма впрочем понятную для дочери веру в невиновность ее отца.

Они сидели и разговаривали, как вдруг раздался резкий стук молотка во входную дверь. Они невольно переглянулись. Маргарита прислушалась. Горничная ее вбежала растерянная и, всплеснув руками, проговорила в дверях:

— Там полиция... Они входят к нам...

В это время из-за ее спины показался уже военный мундир, и молодой офицер, не ожидая доклада и позволения войти, вошел в комнату, снимая шляпу в дверях.

Магарита как была, так и осталась сидеть, неподвижная, побледневшая под своими белыми.

Орленев встал навстречу офицеру.

Тот, несмотря на свою молодость, сразу оказался видимо опытным по приемам в таких делах, каково было настоящее. Увидев Орленева, он сейчас же сделался крайне вежлив и с некоторым достоинством впрочем спросил, кто он такой?

Но все-таки появление его было бесцеремонно, и Сергея Александровича оно взбеси-

ло.

— Странно! — начал он. — Вы входите в дом самовольно и опрашиваете находящихся тут, не называя себя!

— Я адъютант генерал-губернатора и явился сюда по долгу службы — не по своей воле, — скромно ответил офицер.

Эта скромность его спасла Орленева от вспышки и от, может быть, необдуманного какого-нибудь поступка.

— Я имею честь быть адъютантом его светлости князя Потемкина-Таврического, — проговорил он и назвал свое имя и фамилию.

— А! — сделал офицер и записал в очутившуюся в его руках книжечку. — В таком случае вы, может быть, не откажетесь мне помочь в моем несколько неприятном деле, — сказал он еще вежливее. — Я должен произвести обыск у госпожи Маргариты Дюваль — хозяйки здешней квартиры, хотя лично вовсе не желаю беспокоить ее. Я не виноват — мне поручено это. Впрочем, у меня здесь у дверей полицейская команда, — скромно добавил он.

Орленев видел, что этот офицер правда не виноват в том, что ему было поручено сде-

лать обыск, и держался и говорил вполне в том тоне, в каком должно было. Это успокоило его окончательно.

Он обратился к Маргарите и стал объяснять ей, в чем дело.

— Я должен произвести у вас обыск, — подтвердил офицер в свою очередь, обращаясь к ней.

Он сказал это по-французски и вполне правильно.

— Обыск? У меня обыск? — переспросила она. Орленев поспешил успокоить ее:

— Если у вас нет ничего такого, что может скомпрометировать вас, то вам нечего и бояться...

— О, я ничего не боюсь! — проговорила Маргарита вставая. — Пожалуйста, ищите.

Это понравилось в ней Сергею Александровичу. Он ожидал слез, истерики, но Маргарита держала себя очень покойно. Только по стиснутым губам ее он видел, что ей стоило усилий сдерживать свое волнение.

— Ваш письменный стол? — спросил офицер.

— Пожалуйста! — ответила она и провела

его в соседнюю комнату.

Орленев остался один. Уехать теперь и оставить женщину, с которой он провел целый вечер, одну в неприятном положении он, конечно, не считал удобным. Но вместе с тем эта неожиданная история обыска, случившаяся здесь, как раз при нем, была крайне неприятна ему.

Почем он знал в самом деле, кто и что была эта Маргарита? Мало ли в каких делах могла она быть замешана, и могли быть сотни причин, вызвавших обыск у нее. Что о ней несомненного знал он? Что она была авантюристка — и только. Это не подлежало сомнению. Правда, сегодня вечером она вызвала сожаление, симпатию к себе, но было ли правдой все то, что рассказывала она? Такой, как она, женщине, притвориться ничего не стоило и разыграть комедию еще хитрее даже той, которую она разыграла, было очень легко. То, что она так сравнительно спокойно подчинилась требованию обыска, как будто ни в чем неповинная, тоже ничего еще не доказывало. Это могла быть с ее стороны игра, навык к которой был приобретен опытом.

И чем больше думал Орленев, сидя в гостининой француженки, тем более убеждался в несомненности одного, а именно, что он попал в неприятную историю.

А сидеть пришлось ему довольно долго.

— Да, я возьму этот ящик и отобранные мной бумаги с собой! — услышал он наконец голос офицера, входившего в комнату вместе с Маргаритой.

— В этом ящике ничего нет особенного. Я даже не прочла еще всех книг и журналов, какие там, — заметила Маргарита, — мне привезли этот ящик из Парижа...

Офицер не слушал ее.

— А вас я не могу удерживать, — сказал он Орленеву, — вы свободны.

— Разве он не может остаться у меня? — спросила Маргарита.

— К сожалению, нет. Мне приказано приставить к вашей квартире караул, с тем чтобы не пропускать никого к вам. И вы сами должны оставаться дома.

— Но это насилие!

Офицер только пожал плечами.

— Мы выйдем вместе, — сказал он Сергею

Александровичу.

Последнему ничего не оставалось, как только подчиниться. Всякий неловкий его шаг мог отозваться так или иначе на престиже светлейшего, адъютантом которого он был.

— Скажите пожалуйста, — спросил он офицера, когда они вышли вместе на крыльцо, — в чем собственно подозревают эту французенку?

— Ничего вам не могу сказать, — снова пожал тот плечами, — потому что сам не знаю. Я только исполнил то, что мне было приказано.

Он посмотрел, как Орленев сел в карету и, не изменяя своей вежливости, поклонился ему на прощанье. Однако когда Сергей Александрович приехал к себе, то увидел, что конный полицейский провожал его до самого дома.

IX

Светильник

1

Вернувшись домой, Орленев улегся в постель, но не мог заснуть.

Как ни старался он успокоить себя, что все обойдется хорошо, он чувствовал недовольство собой из-за того, что приехал сегодня к французенке и, главное, оставался у нее так долго, что его застал там офицер, явившийся для обыска.

Было очень неприятно, что его застали там. И ведь офицер записал его фамилию к себе в книжечку. Орленев видел это и помнил.

Вообще все воспоминание о сегодняшнем вечере щемило ему сердце.

«И как хорошо до сих пор все шло! — думал он, ворочаясь с боку на бок — Как хорошо... и вдруг теперь!»

Ему уже казалось, что из-за этой неприятной истории вся карьера его испорчена. И зачем он поддался на приглашение, зачем про-

сто не разорвал и не бросил этой несчастной записки?

Впрочем, записка была обстоятельством, которое нужно было обдумать.

Сама ли Маргарита написала и потом лгала отнекиваясь, или это была чья-нибудь посторонняя мистификация? В последнем случае было интересно — кто же и с какой целью мог прислать ему подложную записку?

Сергей Александрович сейчас же, вернувшись домой, нашел ее у себя на бюро (дорогой он боялся, не бросил ли он ее), и теперь она лежала у него на столике, возле кровати.

Он перечел ее несколько раз.

Записка по стилю совсем подходила к тому, что могла написать такая француженка, как Маргарита. Почерк ее он не знал, но рука была несомненно женская. Бумага — тонкая, синяя, с золотым обрезом — сильно пахла мускусом. У Маргариты могла быть такая бумага, и пахнуть мускусом она должна была несомненно, потому что у нее все пахло мускусом.

Орленев жалел, что не попросил ее показать, на какой бумаге она обыкновенно пи-

шет записки и какой у нее почерк.

«Да чего же я думаю? — вдруг сообразил он. — Конечно это она сама написала записку. Кто же посторонний мог знать, что мы знакомы и что она звала меня к себе? Я, кажется, никому не рассказывал о нашей встрече!»

Он постарался самым добросовестным образом припомнить, не проболтался ли он при ком-нибудь о своем знакомстве с Маргаритой, и после долгих усилий памяти убедился, что никто не мог знать об этом.

Значит, записку писала Маргарита и разыграла комедию просто так себе, потому что это пришло ей в голову, а раз она солгала, что не писала записки, значит, и все остальное была комедия!

Орленев потушил свечу и улегся поудобнее, воображая, что обдумал все, что ему нужно было обдумать, и решил все, что ему нужно было решить, и что теперь для него несомненно, что эта француженка — хитрая и ловкая авантюристка, и больше ничего! Жалеть ее нечего.

«А Гирли?» — вдруг вспомнил он.

То, что Гирли оказался лицом, имевшим доступ и некоторое значение у Потемкина, нисколько не было удивительно. Это казалось очень похоже на князя Таврического. Светлейший всегда выискивал во всех слоях общества хороших людей и дружил с ними.

До сих пор сам Орленев от старика музыканта видел и слышал одно только хорошее. А вместе с тем, чем больше он узнавал его, тем более убеждался, что полоумие Гирли только кажущееся.

Все, что рассказывала про него Маргарита, была не ложь. Сама она это выдумать не могла.

Но в таком случае каким же образом этот старик, по-видимому хорошо знавший человеческое сердце, искушенный опытом жизни, мог быть обманут француженкой и относиться к ней хорошо?

Так одна за другой цеплялись мысли у Орленева, и напрасно силился он разогнать их. Они не шли прочь и сами гнали от него сон, заставляя лежать с открытыми глазами, бессознательно вглядывавшимися в темноту, царившую в комнате благодаря опущенным

шторам.

Вдруг он в этой окружавшей его темноте расслышал шорох, потом какое-то движение.

Шорох шел со стороны, противоположной изголовью его кровати, оттуда, где прежде стоял шкаф. Последний он сам отодвинул, чтобы тот не заслонял вделанной дядей в стену доски с выжженным изображением.

Орленев насторожил уши. Он ясно расслышал, как щелкнул замок, и увидел, что в том месте, где была доска, показался слабый свет. Ясно было, что доска отворилась и пропустила человека, закрытого плащом, под которым он нес лампу. В руках у него была трость.

Орленев притаил дыхание, однако сейчас же по фигуре человека узнал в нем Гирли.

— Вы не спите? — спросил старик, раскрывая плащ и ставя лампу на стол.

Этот простой вопрос, произнесенный самым обыкновенным образом, почти сразу уничтожил впечатление странности его появления.

— Надеюсь, вы не испугались, как какая-нибудь нервная женщина, моего прихода? — сказал он, подходя к лежавшему с широко открытыми глазами Орленеву.

Сергей Александрович не испугался. Он только удивился и поспешил выразить это удивление словами:

— Откуда вы и как попали сюда?

Гирли улыбнулся.

— Ну, не будем волноваться из-за пустяков! — тихо сказал он и сел на постель к Орленеву. — Конечно я попал сюда самым естественным, хотя, может быть, и не совсем обыкновенным путем. К этой двери, — он показал на отворенную в стене доску с изображением, — ведет лестница из подвального этажа этого дома.

— Как же вы попали сюда в подвальный этаж?

— Очень просто: я живу там.

Орленев привстал на постели.

— Вы живете у меня в доме?

— То есть в бывшем доме вашего дяди. Да! Что же вас поражает в этом?

— Я не знал этого до сих пор.

— Кому было нужно обращать ваше внимание на то, что где-то у вас в подвальном этаже живет полоумный музыкант? И потом ко мне привыкли здесь. Меня привыкли считать здесь, при доме, как кошку или обжившуюся собаку. Разве вы знаете всех кошек у вас в доме?

— Значит, вы живете давно... и при дяде еще...

— Да, и при дяде!

— Так эта лестница... — начал было Орленев, указывая на отворенную дверь...

— Служила для того, чтобы мы сносились с ним, когда было нужно. Ну, кажется, довольно теперь расспросов, как я попал сюда. Теперь спрашивайте, зачем я здесь!

— Погодите, Гирли! У меня есть еще много

вопросов к вам... Погодите, теперь я знаю, почему вы тогда, при первой нашей встрече, довели меня прямо до дома. Тогда это удивило меня... Да, еще вот что! Это вы говорили обо мне Потемкину, я знаю, это я сообразил...

— По словам Маргариты? — вставил старик.

— Вы и это знаете? Знаете, что я был у нее?

— Вы, кажется, во всем хотите видеть сверхъестественное или, по крайней мере, чудесное, — возразил Гирли. — Ну да, я знаю, потому что мне только что рассказал ваш кучер, что вы были сегодня вечером на Морской.

Орленев, с тех пор как стал адъютантом, завел своих лошадей.

— Когда же кучер успел рассказать вам?

— За ужином. Мы ужинали с ним.

— Вы ужинаете с моими людьми? — невольно вырвалось у Орленева. — Знаете, Гирли, я не допущу этого больше. Отныне вы перейдете сюда, ко мне, и мы будем жить вместе.

Старик снова улыбнулся и, покачав головой, произнес:

— Если бы Гирли захотел, он мог бы жить в дворцовых палатах и есть так, как вы едите только изредка. Но не в этом дело. Оставьте меня жить по-своему! Что было сегодня у Маргариты?

— Пойдите! — перебил его Орленев. — Еще один вопрос. При нашем расставании в последний раз у церкви вы сказали... вы напомнили мне...

Гирли смотрел на него большими, ласковыми, как бы глядевшими в самую душу его глазами.

— Вы напомнили мне о Лондоне, — договорил Орленев.

— Ну так что ж?

— Откуда вы могли узнать это?

— Я хотел просто испробовать вас.

— То есть как испробовать?

— Так, — узнать, помните ли вы впечатление этой встречи.

— Но откуда вы знаете о ней?

— Вы писали об этом вашему дяде.

Боже, как просто, как глупо просто было это!

Орленев теперь только вспомнил, что дей-

ствительно под свежим впечатлением происшедшего с ним написал все дяде. Потом он забыл об этом письме.

Это простое объяснение загадки, мучившей его все последнее время, было и досадно, и как будто обидно ему.

— А вы, значит, помните о ней? — спросил Гирли. Орленев, не ответив на этот вопрос, произнес:

— Вы хотели знать, что было у этой авантюристки?

— Вы называете так Маргариту? — удивился Гирли.

— Конечно. Я попал у нее в неприятную историю. Я получил записку от нее, вот эта записка, она зовет меня к себе... Потом она отказалась от всего, говорила, что никакой записки не писала. Это меня окончательно расхолодило относительно ее...

И Орленев подробно, со всеми мелочами, стал рассказывать о своем знакомстве с Маргаритой и обо всем, чему он был свидетелем сегодня вечером.

Гирли долго слушал, изредка покачивая головой.

— Ах, она бедная, бедная! — проговорил он наконец.

Этого никак не ожидал Орленев. Он все время рассказывал и думал, что старик пришел к нему из участия лично и поэтому в своем рассказе больше напирал на обстоятельства, относившиеся к нему, а вышло совсем наоборот.

Гирли думал о Маргарите?

— Знаете, отчего это произошло? — спросил старик. — От излишней болтливости и неосторожности. Вот вам урок. Помните, ради Бога помните, что осторожность — броня мудрых. Она необходима в ничтожнейших поступках наших. Ничто не проходит бесследно и ничто не безразлично. Маленький камушек может разбить все предначертания человека, уронить его власть. Хорошо сказанное слово — серебро, но молчание — золото. Вы говорите, что Маргарита солгала вам относительно записки и вы разуверились в ней. Давайте

разберем все дело. Где эта записка?

Орленев подал со стола лежавшую у него как бы наготове записку.

Старик внимательно оглядел бумагу и прочел текст.

— Почерк ее, нет сомнения, — сказал он.

— Вот видите! — сказал Сергей Александрович.

Гирли повернул бумагу той стороной, где была печать и был написан адрес, потом посмотрел записку на свет и, не отнимая от лампы, повернул к Орленеву.

— А теперь вы видите? — спросил он в свою очередь.

На тех местах, где был написан адрес, бумага была подчищена и сквозила ясно. Нельзя было сомневаться, что адрес был выскоблен и написан вторично по выскобленному.

Когда внимательно прочитали и рассмотрели адрес, он оказался довольно грубой подделкой под руку Маргариты. Очевидно записка, не имевшая ни даты, ни обращения, была написана кому-нибудь другому и ей воспользовались для того, чтобы послать ее к Орленеву, изменив только адрес и запечатав первой

попавшейся печатью, которая не могла играть роли.

— Но кому же нужно было посылать мне ее записку? — недоумевал Сергей Александрович.

— Вероятно тому, кто желал, чтобы вас застали у Маргариты в то время, когда у нее будет происходить обыск.

— Зачем?

— Чтобы во всяком случае скомпрометировать вас, хотя бы в глазах Потемкина. Рассчитывали, что вероятно ему будет неприятно, что вы были там, а может быть, и хуже...

— Хуже?

— Погодите! Не будем торопиться... Очевидно, значит, записка прислана кем-нибудь...

— Кто хотел сделать неприятность.

— В этом нет сомнения. Нет, кем-нибудь, кто знал, что у Маргариты будет сегодня обыск.

— Но как же он мог узнать, что мы знакомы?

— Ну, это пустяки! Если вы никому не рассказывали о своей встрече с ней, то она могла

рассказать об этом, и не одному, а вероятно нескольким. Даже наверно рассказала. Это дошло до того, кто воспользовался рассказом и прислал вам записку: авось вы придете к ней.

— Так вы думаете, что вся эта история устроена для того, чтобы сделать мне неприятность? Но у меня нет в Петербурге никого... Вот старик Зубов разве? — вспомнил Орленев.

— Его одного вполне достаточно, — согласился Гирли. — Но вас он захватил попутно, так, не наверное, авось и вы попадетесь. Главное же ему важен был обыск у Маргариты. Он и против нее, разумеется, имеет теперь злобу.

— Да, за то, что она выгнала его.

— Конечно.

— Что же у нее могли найти?

— Книги и журналы.

— Книги? — Орленев вспомнил, что Маргарита говорила ему о полученных ею книгах и журналах, которые она разбирала пред его приходом, и сказал: — Знаете что, Гирли? Вы наверно убеждены, что эта Маргарита не может быть замешана ни в какой серьезной истории?

— Совершенно уверен, — ответил Гирли.

— Ну, тогда, значит, и никакой опасности ей не может предстоять. Если на нее и сделал донос хотя бы тот же старик Зубов, то что же могут найти у нее серьезного? Книги и журналы — это еще не такая беда.

— Нет, беда, — сказал Гирли, — и гораздо серьезнее, чем вы можете даже предполагать. Ящик с книгами привезен ей кем-то из французского посольства, недавно вернувшимся из Франции. В числе этих книг наверное много самых интересных, то есть памфлетов и всяких статей против правительства. Вы ведь знаете, что теперь делается во Франции?

— Знаю. Один клуб якобинцев чего стоит!

— Ну вот! Так Маргарите эти книги привезли так, ради редкости и скандала, а теперь это послужит для ее обвинения.

— Но, если она получила их законным путем, она прямо может сказать, кто привез ей этот ящик.

— Этого она никогда не сделает, потому что навлечет страшные неприятности на все посольство.

— Как? Она не сделает этого даже в том

случае, когда это будет единственным выходом для нее?

— Вы не знаете Маргариты. Она не выдаст никого и ни за что. Проболтаться так вот в разговоре — это она может, но выдать другого, чтобы оправдать себя, этого ни за что она не сделает!

— Так что же ожидает ее по-вашему?

— Высылка из Петербурга.

— Как? За то, что у нее нашли французские издания?

— Да. Из нее сделают тайную распространительницу этих изданий, может быть, выставят ее агентом революционных кружков. Почему я знаю? Впрочем, в России зовут это только вольтеризмом. Но дело не в названии... И ей от этого не будет легче.

Они замолчали,

— Однако вышлют ее, — заговорил Орленев успокоительно, — конечно лишь в самом крайнем случае. Ведь это самое худшее, что могут сделать, а для нее это не большая беда. Ну, она уедет...

— А имение, подаренное ей светлейшим под видом продажи? Если она уедет, то что

ожидает ее затем? Опять та же жизнь, к которой она привыкла и от которой едва-едва могла освободиться... Да, теперь мне все более чем ясно. Все это устроено не кем иным, как Зубовым. Он знал о получении книг Маргаритой, знал об имении, и это имение было ножом острый для него. И вот он сделал донос, чтобы лишить ее всего. Расчет довольно верный. И вы вас притянул к этой истории. Вышло, что вы знакомы с подозрительными личностями вроде француженки, которая старалась и его где завлечь, но он донес на нее, а вы вот попались у нее в самый день обыска, приехали вы из-за границы — значит, Бог весть каких идей нахватались там... Вот вам все дело, как оно есть! — заключил Гирли.

— Что же делать теперь? — спросил Орленев.

— Принимать относительное зло как средство к достижению добра, но самому не желать никогда и не делать зла! — проговорил Гирли и, поднявшись и взяв лампу, направился к двери.

— Куда же вы? — остановил его Сергей Александрович.

— Может быть, еще сегодня я успею за-
стать кого-нибудь, от кого разузнаю об этом
деле.

— А как же я-то? — спросил все-таки Орле-
нев.

— Вас я об одном прошу — не выходите
завтра никуда.

— А я хотел ехать к светлейшему.

— Его нет в Петербурге.

— Где же он?

— Сегодня уехал в Царское Село.

— Как же мне никто не сказал об этом?

Как же мое дежурство?

— Ваше дежурство будет по-прежнему в
Таврическом дворце. Насколько я знаю, там
продолжают дежурить. А двор теперь пере-
ехал в Царское Село.

— Как все это неприятно! — сказал Орле-
нев. — И как все шло хорошо до сих пор!

— Об одном прошу, — повторил Гирли, —
дайте мне обещание никуда не выходить зав-
тра и оставаться дома весь день. Вечером я
приду к вам и сообщу все, что узнаю.

— Вы этого требуете? Вы думаете, так луч-
ше будет?

— Да, я этого требую и так будет лучше. Поверьте мне!

Сергей Александрович обещал.

Х Сфинкс

1

На другой день Орленев проснулся поздно. В голове его стоял точно туман какой-то. Он долго соображал, стараясь припомнить, было ли все, что вспоминалось ему, наяву или во сне. Неужели и вправду через эту вделанную в стену доску приходил к нему Гирли? Как-то не верилось в это. Но ведь невероятного тут не было ничего; отчего ж ему было и не прийти, если он жил внизу?

— Что, у нас живет в подвале иностранный музыкант, полоумный, кажется? — спросил Орленев подававшего ему умываться слугу.

— Живет, — ответил тот, — еще при покойном барине поселился и так и живет.

«Значит, все это не сон был!» — подумал Орленев и спросил:

— Ну, что ж он?

— Да ничего-с. Живет себе. Он смирный.

— А как же он с вами разговаривает? По-русски?

— Известно, иностранец. Трудно ему, а разговаривает. Вот лечит тоже. Он простой и обходительный. Даром, что с барями возится. Иногда его такие кареты привозят, что просто страсть.

— Куда привозят? Сюда, домой?

— Да-с, к нам. Только со стороны сада всегда. К нему оттуда ход.

— То-то я его на дворе не видел.

— Так было положено от старого барина. Да и каморка у него махонькая — в подвале-то, а ход оттуда, со стороны сада. И ключ у него.

— Ну, а к нему приходит кто?

— Может, и приходит, да как нам знать? Мы никогда не видали... Должно быть, никто не ходит.

Итак, это был не сон. Гирли жил внизу.

Орленев сдержал данное ему вчера обещание и не пошел никуда.

Просидев целый день дома, он потом рад был, что не выходил. Встреть он старика Зубова, — а встретить его он постарался бы

непременно, — он не удержался бы от какой-нибудь выходки, способной усложнить положение; такая злоба кипела у него против этого человека.

Но, оставаясь один, у себя, он, напротив, мало-помалу стал успокаиваться.

Есть в жизни человека такие моменты, когда душа, Бог ведает в силу каких причин, в тиши становится вдруг так далека земных волнений и побуждений, что, ощущая полный покой равновесия, заставляет человека забыть его преходящие радости и мимолетное здешнее горе, забыть волнующие его страхи, надежды, самолюбивые мечты, сожаления и страдания.

Такой момент просветления именно напал на Орленева после дня, проведенного им безвыходно дома. Ему было хорошо, и он ждал обещанного появления Гирли терпеливо, прислушиваясь к внутреннему, охватившему все его существо покою.

Редко с ним это бывало, но он замечал, что это состояние есть именно то, что люди называют предчувствием, и предчувствием чего-то хорошего. Странно! Что могло вдруг слу-

читься для него хорошее, когда, напротив, обстоятельства сложились вовсе не в его пользу?

Сегодня он ждал Гирли и не ложился в постель. Он сидел с книгой в руках, но не читал ее, а держал в опущенной через локотник кресла руке и прислушивался, нет ли шагов или шороха за заветной потайной дверью, секрет которой открылся ему вчера. Он боялся пропустить появление Гирли и как раз пропустил его: старик вошел так, что его почти не было слышно, а в ту минуту Орленев смотрел в другую сторону.

— Наконец-то! — сказал он, оборачиваясь и увидев Гирли. — Ну что? Узнали что-нибудь?

— Все, что я узнал, вполне подтверждает наши вчерашние соображения. Донос сделан Зубовым, и Маргарита выставлена им авантюристкой и агентом тайных французских обществ. Найденные у нее издания служат неоспоримой уликой против нее. Дело будет ведено спешно. В два-три дня все решится.

— Где же она теперь?

— Пока у себя дома. Ее не выпускают, и у

дверей стража.

Сергей Александрович пристально поглядел на него и спросил:

— Что же вы намерены предпринять?

— Я уже предпринял все, что нужно было сделать на сегодня. Время терять нельзя. Высылка может последовать быстро.

— Разве нельзя остановить ее?

Гирли пожал плечами.

— Даже при помощи светлейшего? — настаивал Орленев.

— Ему неудобно вмешиваться в это дело. Но это не так еще важно. Там еще есть у нас два или три дня, а может быть, и больше. Сегодня нужно сделать то, что безотлагательно.

— Что же?

— Сохранить за Маргаритой ее собственность.

— Имение?

— Да, имение, купчая на которое уже совершена ей.

— Каким же образом вы думаете сделать это?

— Обратить имение в деньги, которые уже не могут конфисковать у нее, потому что их

можно спрятать.

— Конечно, это самое лучшее. Но где найти так скоро покупателя?

— Покупщик есть. Дело только в его согласии.

— Кто же он?

— Вы.

— Я? — удивился Орленев. — Если б были у меня деньги, я не отказался бы от покупки, но ведь у меня нет их... Если вы знали дела дяди, то вам известно, что от него я не получил ничего, кроме этого дома. А своих средств у меня никогда не было...

— Дело не в деньгах. Прежде всего нужно ваше имя...

— Понимаю, — подхватил Орленев, — вы хотите перевести имение на мое имя, с тем чтобы оно оставалось за Маргаритой?

— Нет, она получит свои деньги полностью — всю стоимость земли. Нужно, во-первых, чтобы вы сказали, что, когда вечером вас застали у нее, вы приезжали для окончательных переговоров о покупке. Раньше же вы не знали Маргариты.

Орленев понял, что такая постановка во-

проса сразу освобождает его от всякого подозрения и является превосходным ответом на вопрос, зачем он был у француженки. Приехать к ней для переговоров о покупке не было предосудительно и не компрометировало его. Он вышел чист.

— Хорошо, — сказал он, — это вполне благоприятно для меня; но, видите, безденежно взять на себя ее землю...

— Не ее землю, — перебил Гирли. — Я вам говорю: что касается ее, то она получит всю стоимость имения. Имение же это вы приобретете для другого лица.

— Я его знаю?

— И да и нет.

— Но имя-то вы скажете по крайней мере?

— Имени — нет. Может быть, это имя станет вашим.

— Вы говорите, Гирли, загадками, точно сфинкс какой-нибудь...

— У сфинкса была одна только загадка: «Кто ходит утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех?»

— Разве это была загадка сфинкса? — спросил Орленев, который, как большинство лю-

дей, не помнил, какую неразрешимую загадку задавало мифическое чудовище.

— Да, именно эта, и когда Эдип разрешил ее, назвав человека, то сфинкс умер, потому что человек был разгадан.

— Ну а я разгадаю или нет вашу загадку? — спросил Орленев.

— Да. Я вам помогу, если хотите.

— Конечно хочу, — согласился Орленев.

— Тогда пойдете! — и Гирли, встав, повел Орленева к двери, от которой шла узкая, крутая лестница вниз.

2

Спускаясь за Гирли вниз по лестнице, Орленев думал, что очутится в маленькой каморке подвального этажа, о которой говорил ему нынче утром слуга, подавая умываться. Но они пришли не в каморку. Это была довольно просторная и поместительная комната со сводами и с большим камином в виде очага.

Особенно таинственного в этой комнате не было ничего — не было той обстановки, которой любили себя окружать средневеко-

вые шарлатаны, иногда впрочем чистосердечно верившие в свои магические квадраты и заводившие разные приспособления для добывания золота и философского камня. В комнате были только книги, стол, два кресла и небольшой шкапик. Лишь стоявшая на столе лампа имела несколько своеобразную и странную форму. Она представляла резервуар, с одной стороны которого было изображено старческое, с другой — молодое лицо. Этот резервуар поддерживался на подставке, составленной из двух перевившихся змей.

На одной из стен висела занавеска, тяжелая, с вытканым на ней узором.

— Вот вы говорили о сфинксе, — заговорил Гирли. — Вот он, посмотрите сюда.

Он расправил складки занавеса, и Орленев различил всю комбинацию вытканного узора. Колесо счастья было посредине. С правой стороны его фигура египетского гения добра делала как бы усилия добраться до находившейся наверху точки окружности; с левой — в том же положении находится гений зла. Возле него была надпись «Тифон», в противоположной виднелась надпись «Германубис».

На колесе, сохраняя равновесие, покоился сфинкс с поднятым мечом в своей львиной лапе.

— Вот вам символ, — продолжал Гирли, — один из величайших символов, какой был известен мудрецам древности. Посмотрите, в сфинксе слиты четыре формы: голова человека, туловище быка, лапы льва и крылья орла. Человеческая голова —местилище разума — означает, что, прежде чем начать действовать, нужно приобрести мудрость, которая должна осветить конечную точку намеченного пути. Тело быка служит эмблемой того, что пред испытаниями, пред препятствиями и опасностями нужно вооружиться твердой волей, терпеливой и настойчивой, чтобы проложить свою колею жизни. Львиные лапы означают, что для того, чтобы желать производительно, нужны смелость и дерзновение, чтобы расчистить себе путь в определенную сторону и с полной свободой затем подняться на высоту счастья, верное средство к достижению которого заключено в широком полете орлиных крыльев. Если вы умеете желать то, что есть правда, если вы стремитесь только к

тому, что справедливо, если вы дерзаете на то, что доступно человеку, если наконец вы умеете молчать и если в силу вашего постоянства «завтра» есть только продолжение сегодняшнего дня, то вы найдете неожиданно под рукой ключ вашего могущества.

Все это, что говорил Гирли, было очень хорошо и умно, но Орленев все-таки видел, что это ничуть не объясняет загадочных слов, которые сказал ему наверху старик и объяснить которые он обещал ему.

— Но где же решение загадки? — спросил он, когда Гирли умолк.

— Вы подымите эту занавеску — и все разъяснится тогда.

— Я должен поднять этот занавес? — переспросил Орленев.

— Да, но только помните, что для того чтобы иметь право владеть вечно, нужно желать долго и терпеливо.

Орленев быстрым движением откинул занавес, повисший на шнурке, и отступил, пораженный, с уставившимися широко открытыми глазами на то, что явилось перед ним.

Сон ли это был или видение, но по первому взгляду действительностью это не могло быть. Перед ним за откинувшимся занавесом была она, та, о которой он грезил три года, та, которая мимолетно встретилась с ним, но воспоминание о которой было для него единственной светлой мечтой всей его жизни.

Еще недавно, грезя о ней, он сомневался, существует она или нет и не была ли их встреча только воображаемой, а если и нет, если она действительно существует, то не ошибся ли он, не представил ли себе красоту ее лучше, чем была она на самом деле? Но вот она живая стояла перед ним и не только не приносила разочарования, напротив, казалась еще лучше прежнего, хотя этого и не могло быть, но это было так.

Она стояла, смотрела на Сергея Алексан-

дровича и улыбалась. Вокруг нее не было того ореола и звезд, которые ослепили его, когда он видел ее во сне в последний раз, но и без этого ореола все кругом, вся жизнь освещалась ею.

Да живая ли она стояла тут?

Гирли подошел к ней, взял ее за руку, подвел к Орленеву и проговорил:

— Кажется, вы встречались уже? Ну вот, познакомьтесь теперь поближе! Впрочем, — обернулся он к Орленеву, — она о вас много слышала и знает вас лучше, чем вы ее.

Гирли, сказав это простыми словами, как будто вернул Орленева из другого мира в реальный, где все имело свое определение и где отношения пояснялись такими простыми словами, как произнес он. Но от этого Сергею Александровичу не стало хуже. В этом новом реальном мире по-прежнему была она, и это было еще лучше.

«Она знает меня... она слышала обо мне... но от кого, как?» — произносилось у него в мыслях, однако говорить он боялся, как бы сомневаясь, сам-то он человек ли по-прежнему или обратился возле нее в какое-нибудь выс-

шее общество, да и слов подходящих он не находил.

— Так вы помните нашу встречу? — сказала она.

— Я-то помню ли? — заговорил Орленев, не узнав своего голоса. — Да только с этой встречи я понял, зачем я живу, зачем существую. Грезой о вас я жил с тех пор. Гирли говорит, что вы знаете меня лучше, чем я вас. Я не знаю этого, но вас я знаю, как человек может знать свое счастье.

— Ну что, я вас не обманул? — обернулся к ней Гирли.

— Нет, дядя Гирли, нет, вы всегда говорите правду! Я вижу, что вы не обманули меня.

— Обманули? В чем? — переспросил Орленев.

— В том, что вы любите ее, — ответил Гирли.

— Я ли люблю ее? Да разве я могу не любить, разве человек может не любить своего счастья?

И, по мере того как Сергей Александрович говорил, радость все больше и больше охватывала его и волнение счастья теснило ему

грудь, потому что он видел, что его слова радуют и ее: она слушала их и не только не удивлялась их дерзости, но, напротив, сама и взглядом, и улыбкой поощряла Орленева.

Нужно было много причин, чтобы Сергей Александрович говорил так, как говорил теперь. Его настроение всего сегодняшнего дня, обстановка, в которой они сошлись, эта неожиданность встречи, а главное то, что он был влюблен — как и почему, разве влюбленные разбирают! — все это сошлось, совпало и заставило его говорить.

— И вы не ошибаетесь, — серьезно, глядя в него, сказал Гирли, — вам было довольно одной встречи, чтобы не раскаяться потом?

— Довольно одной встречи! — подхватил Орленев. — В чем же мне раскаиваться, в чем?..

— В этой встрече, в последствиях...

— Когда мы встретились, я только увидел ее, но знал я ее и раньше и буду знать всегда. Что бы ни случилось, она всегда останется для меня единственным счастьем. Господи, — вдруг вырвалось у Сергея Александровича, — и за-

чем мы снова сошлись, чтобы расстаться! Нет, впрочем, это хорошо: по крайней мере я увидел ее еще раз.

— От вас обоих зависит теперь не расстаться, — сказал Гирли.

Орленев вдруг резко приблизился к нему.

— Послушайте, Гирли, ведь от того, что вы говорите мне, люди с ума сходят!

— Я говорю то, что было желанием вашего дяди, которого она знала, и моим. Она от нас слышала рассказы про вас, читала ваши письма к дяде и, кажется, ничего не имеет против нашего желания...

Орленев взглянул на нее. Она молчала. Но ей и не надо было говорить ничего. Он понял и без слов. Понял, что недаром она только что сказала Гирли, что он всегда говорит правду. Да, она ничего не имела против.

Итак, давно желанное, далекое, невозможное стало вдруг близким и возможным.

— Ну, теперь сядем и поговорим о деле, если вы способны говорить еще, — начал Гирли, снова врываясь со своим другим здешним миром в то, что совершалось в душе Орленева.

— О каком деле? — спросил Сергей Александрович.

— О том, о котором мы говорили наверху.

«О чем мы говорили? — силился вспомнить Орленев. — И разве можно теперь говорить о том, что было прежде. Теперь все ново и прекрасно».

— О деле, — пояснил Гирли, — для которого я вас сюда привел и благодаря которому сегодня пришлось ускорить то, что я хотел сделать немножко с большей постепенностью.

Делать было нечего: Орленеву приходилось вспоминать, о чем они говорили.

— Имение! — вспомнил он.

— Да, имение, которое пойдет вам в приданое за вашей женой. Понимаете теперь, что вы можете купить его на свое имя, а деньги будут заплачены тем, кто даст за ней приданое?

Эти слова «жена», «приданое» были слишком уж простыми словами. И хотя они выражали то же счастье, но являлись все-таки чересчур уже низменными.

— Ах, делайте что хотите и распоряжайтесь мной как угодно! Я на все согласен те-

перь! — решил Орленев, чтобы покончить с этим разговором.

ХІ Лев

1

Ее звали Идизой, — вот все, что узнал Орленев о своей невесте. Но не все ли равно ему было? Ничто не могло ни прибавить к его счастью, ни убавить от него ничего.

Идиза давно знала и почти с детства помнила старика музыканта и привыкла называть его «дядя Гирли». Он был ближайшим руководителем ее и заботился о ней. Они часто ездили за границу, и в одну-то из этих поездок она встретила Орленева в Лондоне.

Она знала о том, что ее «дядя Гирли» был музыкант, но по тому уважению, с которым она говорила о нем, видно было, что она и не подозревала, что его зовут или считают полумным.

Дядю Орленева она видела и тоже знала его и очень любила и уважала.

Кто ее был отец и мать — Идиза не имела понятия, а потому не могла и теперь, так же,

как и тогда, в Лондоне, сказать свое родовое имя. Ее звали Идизой, — только это она и могла сообщить Орленеву.

Росла она одна, без подруг, без знакомых.

Когда Орленев вернулся в свою комнату тем же путем, как и вышел из нее, ему пришло еще в голову много вопросов, которые он не успел сделать Идизе. Где она жила, с кем, как попала сегодня вечером к Гирли, где они увидятся завтра? Все это было очень важно и нужно ему знать, но он, обезумевший от свидания с Идизой, подумал обо всем этом лишь тогда, когда пришел несколько в себя, очутившись один в своей комнате.

Проводил его сюда Гирли, сказавший, что «довольно на *сегодня*», что уже поздно и пора разойтись.

Орленев в избытке своего счастья подчинился ему беспрекословно, но теперь конечно жалел об этом. Свидание казалось ему слишком мимолетным, и он упрекал себя, зачем не сделал любимой девушке приходивших ему теперь в голову вопросов.

Он счастлив и несчастлив был в одно и то же время.

Он пытался отворить сам секретную дверь, чтобы еще раз спуститься к Гирли, но она казалась плотно заделанной в стену доской, и не было никакой возможности отворить ее. Орленев стучал в эту дверь и не слышал ответа.

Он провел бессонную ночь; он не мог заснуть и от радости, и от мучившей его неизвестности, когда они увидятся завтра, и вообще оттого, что наяву он так был счастлив, что не нуждался в сне.

Конечно, они должны увидеться завтра! Он умрет, но достигнет своего.

Он решил ранним утром отправиться к Гирли, велеть, чтобы его провели через сад к нему в каморку, и упросить старика, чтобы тот вез его сейчас же к Идизе. Но, когда утром поднялся дом, сделать это оказалось вовсе не так легко.

Орленев послал узнать, у себя ли Гирли; ему пришли доложить, что дверь в помещение старого музыканта заперта — признак, что его нет дома. Орленев сам спустился в сад, постучал, посмотрел: на двери Гирли висел огромный замок.

Нечего было делать — приходилось довольствоваться ожиданием.

И главное — никто не видел, когда, с кем и как ушел Гирли из дома. Обыкновение же его было, по словам прислуги, — раз он ушел с утра, не возвращаться уже до вечера.

Сергей Александрович сам понимал, что Гирли едва ли вернется скоро, потому что вероятно пошел по этим скучным разным делам. Значит, его можно было ждать только поздно вечером, опять через потайную дверь. Другого способа увидеться не было.

— Да он не говорил ли кому-нибудь, чтобы мне передали что-нибудь? Записку оставил, может быть? — допытывался Орленев.

Но ему в сотый раз сообщали, что никто не видал, как ушел старик, и что тот никому ничего не говорил.

Приходилось протянуть время до вечера.

Остаться дома Орленеву не хотелось. Ему нужно было движения, жизни; ему нужно было людей, рассеяния.

Но всюду было еще рано.

Сергей Александрович сел на Фонтанке в лодку, выехал в ней на Неву и долго катался

один. Потом он закусил у Гидля. Тут же в кондитерской ему попала широковещательная афиша, зазывавшая в устроенный на Адмиралтейской площади балаган, где приезжей иностранной труппой показывались разные чудеса: премированный жонглер становился на голову, ел и пил за здоровье всей «кумпании» в таком положении. Дрессированные собаки прыгали через огненный обруч, кто-то плясал по канату. Но главную прелесть программы составляла девица Шарлотта, входившая в клетку с живым львом и укрощавшая его на глазах у публики. Представление началось в два часа дня.

— Что это вы рассматриваете программу? — услышал Орленев, занятый разглядыванием афиши.

Он поднял глаза и узнал Доронина. Они поздоровались.

— Да так, от нечего делать, — машинально ответил Сергей Александрович и положил афишу — он все сегодня делал машинально в ожидании вечера.

С каким удовольствием проспал бы он это время или хотел бы, чтобы оно пропало так,

даром, у него, было вычеркнуто из его жизни! Но видно Гирли был прав — ничего не проходило даром, и, пока время тянулось, Орленев должен был волей-неволей подчиниться ему.

— А это очень интересно, — проговорил Доронин, — мне рассказывали, что стоит пойти. Вы не собираетесь?

— Куда?

— Да вот, посмотреть на представление. Я хотел бы сегодня отправиться. Пойдемте! Хотите?

Удивительно добродушный человек был Доронин. Таких людей Орленеву приходилось встречать только в России. На него никак нельзя было сердиться.

Сергей Александрович, будучи у него на вечеринке, встретил у него зубовский кружок; значит, можно было предполагать, что Доронин — приверженец Зубовых. Но вот он, Доронин, отлично знал, что сам Орленев служит у светлейшего и несмотря на это дружит с ним, и дружит видимо без всякой задней мысли или расчета (что всегда заметно), а так, просто потому, что сам он — хороший человек и желает быть со всеми в хороших от-

ношениях.

— Так пожалуйста, пойдёмте вместе! Будет отлично, и мы проведем время, — упрашивал Доронин.

Орленев подумал, что действительно ему все-таки лучше будет провести время с Дорониным, чем оставаться одному, и согласился идти смотреть представление.

«Представление так представление, — решил он, — мне все равно!»

Добродушный Доронин был все-таки для общества приятнее всех молодых людей, с которыми Сергей Александрович встречался до сих пор.

Они посидели еще немного у Гидля, затем отправились к началу обещанных «комедийных действий» на площадь в балаган и купили там себе места.

Публики, всегда жадной на всякие новинки, собиралось довольно много. И публика эта была чистая. Однако знакомых среди нее не только Орленев, но даже Доронин, знавший, казалось, весь Петербург, не встретил. Тут были по преимуществу купцы, иностранцы. В дешевые места ломилась толпа простолюдины.

— А знаете, стоит ли идти? — впал в сомнение Доронин, которому, по правде сказать, никто не говорил о прелестях балагана на Адмиралтейской площади, а он так, из своего добродушия, решил, что, должно быть, там будет интересно.

Орленеву было решительно безразлично. Он со вчерашнего дня чувствовал себя не от мира сего.

— Как хотите! — согласился он.

— Знаете, — сказал Доронин, — я смотрю

на вас и радуюсь: у вас удивительно счастливый вид сегодня.

— Да, я счастлив, — ответил Сергей Александрович с удовольствием.

«Сказать ему или не сказать?» — вдруг пришло ему в голову, но он тут же отогнал эту мысль, как совершенно несуразную: с какой стати он будет рассказывать Доронину о том, почему он счастлив?

— Ну так что ж, пойдете? — предложил Доронин, чтобы сказать что-нибудь. — Представление, кажется, началось.

И они вошли в балаган.

Представление действительно началось.

На сцене был уже поднят занавес, и там какой-то усатый, мускулистый человек стоял вверх ногами и разводил ими в воздухе. Он долго приноравливался в этом неудобном для себя положении, наконец установился в равновесии и протянул руки. Ему подали три ножа, он стал их перекидывать из одной руки в другую. Публика зааплодировала. Тогда человек бросил ножи, взял скрипку и стал играть на ней. Играл он скверно. Орленев предпочел бы гораздо лучше слушать игру прямо стоя-

щего, но хорошо играющего музыканта, однако публике очень понравилось, что человек стал вверх ногами и играл плохо. Опять зааплодировали. Человек, поиграв, начал есть вилкой с тарелки, потом пить из стакана...

Орленев отвернулся и стал разглядывать сидящих вокруг него. Интересного было очень мало.

Вдруг среди сидящих вокруг него людей его внимание невольно обратило на себя одно лицо прилично одетой пожилой женщины. Лицо было нерусское; это сразу бросилось в глаза.

«Господи, где я видел это лицо? — стал припоминать Сергей Александрович. — Знакомое, положительно знакомое! Где-то видел, а припомнить не могу».

— Кто это? Вы не знаете? — толкнул он Доронина, показав ему на пожилую женщину.

— Почем я знаю! — ответил тот. — Вероятно портниха какая-нибудь. Судя по лицу, она француженка.

«Сам вижу, что француженка, но не портниха только, нет, таких портних не бывает!» — соображал Орленев.

На сцене в это время уже ходили по канату.

Сергей Александрович продолжал рассеянно глядеть и думать о том, что было вчера с ним и как он увидит Гирли и непременно скажет ему, что так нельзя его мучить, что он больше не согласен, что он хочет видеть Иди-зу каждый день.

Канатного плясуна сменила танцовщица, танцовщицу — фокусник. Этот долго оставался на сцене и показывал разные штуки, называвшиеся «опытами магии».

Наконец наступил главный номер программы — выход укротительницы льва.

Опустили занавес. На нем были довольно плохо намалеваны портик и зелень в виде зернистой икры. За занавесом слышалось движение, стуки и топот нескольких людей, передвигавших что-то тяжелое. Публика затихла и жадно стала прислушиваться.

Музыканты — две скрипки, труба, флейта и барабан — играли какой-то морсо д'ансабль, причем слышались кстати и некстати барабанные удары по преимуществу.

Наконец занавес снова поднялся, и глазам

публики предстала железная клетка во всю сцену, а в клетке ходил и дико рычал лев. Он рычал потому, что его дразнил палкой загри-мированный негр в зеленой чалме, грязной от сажи, которой он мазал себе лицо. Куртка на нем, благодаря очевидно той же саже, ка-залась еще грязнее. Но лев произвел полный эффект. Барабан перестал бить, и музыка умолкла.

Орленев заранее представил себе укроти-тельницу, которая должна сейчас выйти, тол-стую, мускулистую, в коротком платье, с сильно развитыми икрами.

Укротительница, девица Шарлотта, вы-шла, но оказалась совершенно не соответ-ствовавшей представлению Орленева. Она была худенькая-худенькая, с декольтирован-ными плечиками, с ясно выступавшими клю-чицами, с маленькой головкой на тонкой, как стебелек, шее. Платье на ней, красное, обши-тое позументом, каким гробы обшивают, бы-ло действительно короткое и открывало ее худенькие, затянутые в шерстяное розовое трико ноги. На шее у нее виднелся большой плоский овальный медальон на цепочке, ко-

торый подпрыгнул, когда она присела перед публикой. Трудно было сказать наверное, сколько ей лет.

При ее появлении лев затих было, но заgrimированный негр стал дразнить его сильнее, и он снова зарычал.

— Живой лев-то, настоящий! — слышалось в толпе.

Шарлотта, присев перед публикой, быстро повернулась, вбежала по ступенькам маленькой клетки, приставленной к большой, втянула голову в плечики и в один миг, только успели хлопнуть открытые и закрытые негром решетки, очутилась в большой клетке.

— А!.. — пронеслось в толпе.

Лев, как только Шарлотта вошла к нему, успокоился. Негр не тронул его больше. Укротительница подошла к нему, как-то съежившись вся, взяла за гриву, и лев, ударив раза два хвостом по полу, прилег. Шарлотта села к нему на спину и, протянув свои худые руки, закрыла ими его пасть. Он послушно поддавался ей.

Публика с замершим дыханием следила за

тем, что происходило.

Лев видимо был ручной, но жуткое чувство того, что он все-таки может вдруг кинуться и растерзать бедненькое существо, бывшее у него в клетке, приковывало общее внимание.

Шарлотта встала, быстро отпрыгнула назад к дверцам, кинула зверю что-то из кармана, решетка опять хлопнула, и она очутилась на свободе, вне клетки.

Только и всего.

Публика стала хлопать, но сдержанно, неохотно как-то. Не было ничего эффектного, потрясающего. Одна только минута захватила ее, но сейчас же это и прошло.

Шарлотта опять неловко присела и, взглянув на стоявшего с палкой негра, ушла за кулисы.

Бедная! Она сделала все что могла, она послушно, для удовольствия собравшихся на нее смотреть зевак была, может быть, на волосок от смерти, вошла к зверю, который не тронул ее только потому, что чувствовал, что она не боится его и привыкла к нему; что же от нее требовалось еще? Она рисковала жиз-

нию на общую потеху, больше этого нечем было рисковать ей.

Орленев с Дорониным стали аплодировать снова. Их поддержали. Шарлотта вышла опять и опять присела. Вместе с ней кланялся почему-то и негр в грязной чалме.

3

Оттого ли, что Орленев чувствовал себя в особенном, приподнятом и размягченном настроении, или действительно эта маленькая Шарлотта, как звали укротительницу, была такая, но только она казалась ему очень несчастной. Много горя, должно быть, вынесла она.

«Да что горе! — почему-то вдруг пришло в голову Сергею Александровичу. — Сумей управлять скорбью, и она станет счастьем».

Есть и были редкие люди на земле, для которых страдания составляли счастье. Ну, так вот Шарлотта, казалось Орленеву, принадлежала к таким людям.

Публика поднялась со своих мест и стала выходить из балагана. Чувствовалось, что хотя и было интересно, но представление не

вполне удовлетворило ее.

— Вы куда теперь? — спросил Доронин, когда и они наконец очутились на вольном воздухе.

— Я?.. Не знаю! — начал было Орленев. — Впрочем простите, — вдруг добавил он, — я забыл совсем, мне нужно поспешить! — и, торопливо простившись с Дорониным, он, вдруг быстро зашагав от него, побежал почти.

Дело было в том, что он узнал теперь старую француженку, которую заметил еще в балагане. Она стояла в некотором отдалении и осматривалась, как бы соображая, в какую сторону ей следовало идти.

Это была та самая француженка, которую видел Орленев в Лондоне, когда она прибежала, ища Идизу. Тогда Сергей Александрович видел ее мельком, почти мимолетно и потому не мог вспомнить сразу ее лицо, но теперь он узнал ее. Это была она, несомненно.

Говорят, случай помогает влюбленным, и на этот раз поговорка вполне оправдывалась.

Орленев подошел к француженке и, не соображая хорошенько о том, что ему говорить и как повести речь с ней, сразу спросил:

— Это вас я видел в Лондоне с мадемуазель Идизой?..

Старуха француженка отшатнулась пораженная, но сейчас же ее лицо расплылось в улыбку, и она вежливо проговорила:

— Простите, но я не знаю, с кем имею честь говорить?

— Я со вчерашнего дня — жених мадемуазель Идизы; если вы все еще при ней, то можете спросить подтверждения у господина Гирли. Я — Орленев! — ответил Сергей Александрович, не столько словами, сколько интонацией голоса желая убедить ее, что он — то самое лицо, которым рекомендуется ей.

Француженка посмотрела на него и поверила.

— Да, я при мадемуазель Идизе, — ответила она, — и знаю все, что произошло вчера. Вы, может быть, идете к ней теперь, так нам по дороге. Сегодня день, когда у меня отпуск, и я гуляю... Но пора домой.

Лучшего ничего и не желал Орленев. Он только боялся одного: как бы не показать француженке, что он не знает, где собственно живет его невеста, а то она могла подумать,

что почему-нибудь он это знать не должен, и может отказаться от его сопровождения.

— Позвольте, — остановила она, — в которую сторону река, как вы ее называете, Нева?

— Нева в эту сторону, — ответил Орленев и повел француженку к набережной.

— В этом Петербурге с его огромными расстояниями, — начала болтать француженка, — я всегда путаюсь. Сегодня прямо из дворца я взяла лодку и приехала сюда. Вышла, вижу — театр, купила себе место и просидела представление, и вот вся моя прогулка.

«Из дворца? — соображал Орленев. — Значит, они живут во дворце? Но в каком?»

Ни одного дворца из Императорских, кроме Зимнего, на берегу Невы не было. Дворец Анны Иоанновны, что был построен у Летнего сада, был уже сломан. В придворных помещениях, значит, Идиза и француженка не могли жить. Оставались частные «дворцы», но и таких было очень мало.

«Неужели Таврический?» — мелькнуло у Орленева.

Придя на набережную, они выбрали лодку

и уселись в нее. Орленев все это сделал, как будто превосходно знал, куда лежит их дорога.

— Куда везти? — спросил лодочник. Француженка молчала, ожидая, что распорядится Орленев.

— К Таврическому дворцу, — сказал он нарочно так отчетливо, чтобы француженка могла понять это.

Он успел уже обдумать, что приказать лодочнику. Если бы он ошибся, то сказал бы, что он вспомнил, что ему нужно быть в Таврическом дворце по службе и что потому он сначала велел ехать туда. Но он, видимо, не ошибся: француженка не поправила его.

Не уверенный вполне, поняла ли она его приказание лодочнику, Сергей Александрович, выждав некоторое время, сказал, будто так себе:

— А правда хорош Таврический дворец?

— О да! — ответила француженка. — Там очень удобно. И какой прекрасный сад!

Не было сомнений, они жили в Таврическом дворце.

Вверх по течению плыть было довольно

трудно, но опытный лодочник ловко справлялся с веслами. Сердце Орленева сильно билось. С каждым взмахом этих весел он становился все ближе и ближе к цели, и близилась та минута, когда он снова увидит свою Идизу.

Вот наконец показался полукруглый фасад главного корпуса с раскинувшимся пред ним вплоть до берега лугом. Они подъезжают к пристани, высаживаются из лодки и идут, но не к главному подъезду, а к боковому. Орленев, как вежливый кавалер, уступает дорогу своей спутнице, а сам следует за ней. Сейчас он увидит ее, свою Идизу, — случай покровительствует влюбленным. Сергей Александрович был очень счастлив в это время, и, может быть, счастье его было уже чересчур чрезмерно, потому что вдруг судьба сделала совершенно иначе, нежели предполагал он.

XII

Повешенный

1

У крыльца, к которому они подходили, Орленев увидел оседланную лошадь, которую держал для себя. И только что подошли они, как из-под открытого окна нижнего этажа послышался голос: «Наконец-то! В вас-то мне и нужно!», а вслед за тем на крыльце показался уже знакомый Орленеву Попов, секретарь Потемкина. Он, весь красный от волнения, кричал и махал руками:

— Что это никого не найти из вас, батенька? Чуть ли не с утра ищут... За вами раза четыре посылаемо было... Тут из действующей армии самонужнейший пакет прибыл, каждая минута дорога, а везти некому. Не с фурьером же посылать!

— Что, кого, куда посылать? — спросил Орленев подходя.

— Ах, Бог мой! Да к светлейшему в Царское Село нужно немедленно пакет отвезти!.. И без

того сколько времени ушло, а вы еще спрашиваете. У меня все готово: вот и лошадь стоит, а ехать некому.

— А дежурный?

— Да вот ищите его! Светлейшего нет, так никто в ус не дует... Да погодите, сегодня дежурный-то вы и есть...

— Как я? — воскликнул Сергей Александрович.

— Да так! Конечно... конечно вы...

— Ах, что же я наделал! — вырвалось у Орленева.

Он вспомнил, что был действительно дежурный, но забыл об этом сегодня, как забыл обо всем на свете, и вместо того чтобы приехать сюда, проболтался зря целый день по городу.

Но, раз он не приехал на смену, вчерашний должен был оставаться дежурным.

— А вчерашний? — спросил он.

— Ищите вчерашнего!.. Тоже не был. Я вам говорю — светлейшего нет, так никто и в ус не дует! — опять с досадой ответил Попов.

«Если вчерашний тоже не был, значит, беда еще невелика, что я не явился», — подумал

Орленев и вздохнул свободнее.

— Где же пакет? — спросил он.

— Вот целая сумка, — сказал Попов, передавая ему кожаную сумку с ремнем. — А плащ у вас нет с собой? Погодите, я вам выслать велю.

Орленев оглянулся. Пока они говорили с Поповым, француженка успела уже исчезнуть.

— Вот что, — нерешительно проговорил он, — можно мне одну минуту, повидаться только...

— Какая тут минута? — закричал Попов. — Ведь по настоящему вы теперь должны были бы уже давно быть там, в Царском... Вернетесь, тогда повидаетесь, с кем вам угодно... Теперь ни секунды терять нельзя! — и он почти насильно усадил Орленева на лошадь, сунул ему в руку хлыст, накинул плащ и сам ударил плашмя ладонью по лошади. — Ну, с Богом и живо!

Лошадь тронулась в путь. Сергей Александрович, пристыженный своей неаккуратностью, со стиснутыми зубами ударил ее еще раз хлыстом и поскакал, не рассуждая боль-

ше.

До заставы он с трудом находил дорогу, вынужденный, не зная ее, расспрашивать, но, выехав на обсаженную двумя рядами деревьев прямо столбовую дорогу, погнал во всю мочь.

Только проскакав версты три, когда от быстрой скачки в нем улеглась досада на самого себя, он понял, что без толка гонит лошадь, на которой ему придется сделать еще конец до Царского и обратно. Он придержал ее, поехал шагом и дал вздохнуть ей.

Для того чтобы как можно скорее добраться до Царского Села и вернуться в Петербург (а это последнее было самое важное для Орленева), необходимо было соразмерить силы лошади и ехать так, чтобы она могла сделать этот переход с должным запасом бодрости. Орленев повел ее крупной рысью, рассчитав приблизительно по скорости ее хода, что успеет съездить и вернуться так, что ему можно будет увидеть еще сегодня Идизу.

Около полудороги проехал он, а по пути встречных почти не попадалось.

Вдруг он увидел впереди себя довольно значительное количество столпившихся лю-

дей, повозок, телег; была даже одна карета.

— Что такое? — подъехав спросил Сергей Александрович.

— Не пропускают вот, — объяснил кто-то из толпы, — уже целый час ждем!

— Не пропускают? Отчего не пропускают? — удивился Орленев.

— А кто ж знает? Не велено, говорят. Известно — начальство!

— Ты, милый человек, вот подойди к рогатке, там тебе все толки найдут, — посоветовала какая-то баба Сергею Александровичу.

Последний слез с лошади, взял ее в повод и пробрался через толпу.

Дорога была загорожена стоявшей поперек ее рогаткой, у которой стояло несколько дюжих молодцов в венгерках с позументами.

— Почему загорожена дорога? — спросил Сергей Александрович.

— Потому что загорожена! — ответил один из молодцов, нагло взглядывая на него.

Орленев вскочил на лошадь и в один миг, объехав через ров рогатку, очутился по другую ее сторону.

— Кто тут старший у вас?

Молодцы несколько смутились.

— Кто тут старший? — крикнул во весь голос Орленев.

Этот его крик подействовал наконец. Вышел старший.

— Отчего поставлена рогатка? — снова спросил Орленев.

— Их сиятельство князь Зубов изволят охотиться.

— Изволят охотиться, и потому вы не пропускаете по дороге?

— Приказано так, чтобы не было помехи во время охоты его сиятельства.

— Ах вы шуты гороховые! — расхохотался Сергей Александрович и поехал было по дороге.

Но старший забежал вперед и схватился за узду его лошади.

— Господин, нельзя-с!

— Я тебе дам «нельзя»! — опять крикнул Орленев и, подняв хлыст, наотмашь ударил по нем.

Лошадь дернулась, зубовский охотник отскочил в сторону, и Сергей Александрович ходкой рысью, не увеличивая ее, поехал впе-

Эта встреча взбесила его. В самом деле, это казалось уже из ряда вон выходящим самоуправством. Загораживать своими людьми дорогу и ставить рогатки потому, видите, чтобы проезжие не мешали охоте!

«Черт знает что!» — думал Орленев.

Дорога впереди пересекала лес. В нем слышались охотничьи рога и раздавалось гиканье доезжачих.

«Ишь, их! — невольно злобствовал Орленев. — Проезжие дороги закрывать!.. Выдумывают тоже».

Он сообразил, что встретиться ему теперь кто-нибудь (а это мог быть и сам Зубов), и придется объясняться и принимать крутые меры, и потому попридержал немного лошадь.

Она шла, помахивая головой, взволнованная несшимся по лесу гиканьем и звуком рогов, и вдруг остановилась, фыркнула и стала перебирать ногами.

Необычайное зрелище увидел пред собой

Орленев. Между двумя деревьями с отрубленными ветвями, чтобы последние не мешали, на привязанной к стволам их балке висел повешенный вниз головой за одну ногу человек. Руки у него были завязаны на спине, лицо посинело, налитое кровью, в ноздрях виднелась запекшаяся кровь, в рот был засунут огромный комок, сложенный из тряпки. Человек был мертв уже. Он висел почти у самой дороги.

Впечатление отвратительного ужаса охватило душу Орленева. В особенности ужасно было это сине-багровое, с надувшимися жилами, лицо.

Где-то вблизи за кустом слышались шорох и голоса. Ветки затрещали, и на дорогу выскочил мужик с дубинкой, а сзади за ворот держал его опять зубовский охотник.

Мужик, увидев Орленева, рванулся от державшего его охотника и кинулся на дорогу, вопя благим матом:

— Батюшка, защитите, ни в чем не виноват!

— Оставьте его! — сказал Сергей Александрович охотнику.

Тот оглядел его и спросил:

— А вы сами кто же будете?

— Пошел вон сейчас же! — вспыхнул Орленев. — И скажи твоему барину, что я, господин Орленев, адъютант светлейшего князя Потемкина, оставил тебя в живых только потому, что рук не хочу марать о тебя... Ну, ты еще здесь? — добавил он, видя, что охотник мешкает.

Должно быть, это добавление произвело свое действие. Охотник не счел возможным вступать в дальнейшие разговоры.

— А ты кто, за что тебя он? — спросил Орленев у мужика.

Тот, услыша человеческую речь, встал на ноги и стал объяснять:

— Мужики, и то не наши, а чухны, распривились вот с конокрадом... Конокрада поймали, жить от него не вмоготу стало, ну они и порешили с ним, — он показал на повешенного за ногу человека. — Ну а меня староста, как увидал висельника, стеречь его приставил, чтобы, значит, никто до начальства его не трогал... пока начальство не приедет... Я и стою. С утра нынче стою. Не ел ничего, да и к

еде не тянет. Противно очень. Только вдруг и налетел на меня охотник, «Ты, — говорит, — что здесь?» — «А я, — говорю, — висельника сторожу», — а он меня бить за это...

Гадко стало Орленеву. Он отослал мужика домой, а сам решительно двинулся вперед, ощущая такую злобу, что, кажется, попадись кто-нибудь еще из зубовских, он был бы в состоянии привести в исполнение свою угрозу и действительно не оставить его в живых.

Но больше ему никто не попадался. По ту сторону района охоты тоже на дороге рогатка, и здесь тоже ждал народ проезда, но люди, стоявшие у этой рогатки, пропустили Орленева, сняв шапки, так как приняли его за своего, видя, что он едет к ним от леса, занятого охотой.

Вид безобразного трупа конокрада, с которым зверски расправились мужики, встреча с зубовскими людьми и наглая грубость их возмутили и без того уже беспокойное настроение Орленева, ехавшего с пакетами, вместо того чтобы сидеть с невестой, которую он желал видеть.

«Странно однако, что мне не хотят назвать

ее имя, — стал рассуждать он. — Надо будет допроситься... И потом, почему она вдруг живет в Таврическом дворце и ее скрывают?»

Тут молодому человеку в голову пришло соображение, от которого он вдруг похолодел весь:

«А что, как Идиза — та самая, которая жила в домике на Выборгской и которая была «покровительствуема» светлейшим? За ней дают приданое, большое приданое, но кто дает, почему дает? Конечно Потемкин. Кто же другой, если она и теперь скрывается в его дворце? Так вот оно что! Так значит, меня избрали ей в мужья, как это обыкновенно делается, чтобы прикрыть все дело! Но она, разве она могла?.. Ах, люди до того скверны, до того мерзки!» — думал Орленев.

И чем больше думал он, тем страшнее и страшнее ужасы открывались пред ним. Точно во время его переезда в него вселился какой-то бес, и тот бес не давал ему покоя. У него находились все новые и новые подтверждения поразившей его внезапно мысли, и это было мучительно, но он, подчиняясь бесу, мучил себя.

Да и нельзя было не мучиться, потому что все было ясно как день. Иначе и быть не могло. Конечно, с какой стати иначе Потемкин станет давать за Идизой приданое? Правда, он Маргарите кинул имение, но это был случай; светлейший не пожалел этого имения, чтобы оно не перешло к Зубову. Такие случаи — редкость. Здесь же совсем другое дело.

Мало-помалу Орленев пришел к такому выводу, что для полного убеждения ему нужно было выяснить один лишь вопрос: кто жил в домике на Выборгской? Если Идиза, тогда не было уже сомнения никакого.

И потом, что это за музыкант, этот Гирли, который был, значит, у Потемкина для того, чтобы устраивать дела без огласки? Положим, он знал его дядю. Но разве он не мог обойти и дядю? И Гирли теперь стал казаться Орленеву хитрым стариком, ловившим рыбу в мутной воде... Этой рыбой чуть-чуть не оказался сам он, Орленев. Но хорошо, что он спохватился вовремя; теперь не обманут его. Он удивлялся только, как не пришло ему все это в голову раньше.

Орленев впоследствии всю свою жизнь помнил этот день, с полной ясностью и отчетливостью во всех его подробностях.

Он приехал в Царское Село и стал расспрашивать, где ему найти светлейшего Потемкина. Города он совершенно не знал. Ему указали на дворец и объяснили, что Потемкин живет там.

Царское Село оказалось не очень сложно по постройке и дворец был виден еще издали. Сергей Александрович сам нашел дорогу к нему и у ворот от часового узнал, что светлейший помещается внизу главного корпуса и, чтобы попасть к нему, нужно идти в первый подъезд налево.

Подъехав к подъезду и войдя в него, Орленев очутился среди своих. Лакеи узнали его, и старый камердинер Потемкина был тут же.

«Скорее, скорее отделаться и ехать отыскивать этого музыканта... Ну уж попадись он мне только! — думал Орленев, когда его провозжали в кабинет, где он думал, что его встретит Потемкин. — А разве прямо сказать само-

му светлейшему? Спросить у него? Он должен знать».

Бог ведает, что случилось бы, если бы Сергей Александрович действительно в кабинете нашел Потемкина. Но, на его счастье, там встретил его не кто иной, как все тот же неизменный Гирли. Да, посреди большого кабинета, устроенного на манер такого же, какой был в Петербурге, стоял старик Гирли, видимо ожидая прихода Орленева.

— А, вы с сумкой, — сказал он, встречая молодого человека, — значит, по долгу службы?

Сергей Александрович был при исполнении, так сказать, своих служебных обязанностей, и у него хватило настолько такта, чтобы покончить сначала с ними.

— Нужные пакеты из действующей армии! — сухо проговорил он. — Велено сейчас же передать светлейшему.

— Светлейший сам отправляется в действующую армию, завтра в пять часов утра, — ответил Гирли. — Положите на стол вашу сумку. Но что с вами?

— Что со мной? — подхватил Орленев. —

Скажите мне одно только: жила она в домике на Выборгской? И на нее это затеял тогда Зубов облаву?

Гирли смотрел на него удивленно. Он понял, про кого говорили ему, и ответил:

— Ну да, она жила в домике на Выборгской! Да что с вами-то?

«Так и есть!» — словно обрадовавшись, сказал себе Орленев.

— Со мной-то? — вдруг запальчиво заговорил он. — Со мной то, что я не позволю играть собой... не позволю!.. Я знаю, кто она...

И он в длинной ряде неудержимо лившихся у него необдуманных слов высказал все, что несвязно и глупо пришло ему в голову в конце дороги в Царское Село, после неприятностей, встреченных по пути и, главное, после зрелища ужасной расправы мужиков с конокрадом.

Гирли тихо слушал, давая ему выговориться, точно ждал, чтобы утих у Сергея Александровича задорный пыл расходившейся необдуманной молодой горячности.

Когда Орленев сказал все, что мог сказать, и когда упорное молчание Гирли укротило

его наконец, он думал, что все уже кончено, что он теперь — погибший человек и пропащий. Да другим он и не мог считать себя после того, как его жизнь оказалась разбитой в самых лучших, в самых светлых мечтах его.

Наговорившись, он умолк и, закрыв лицо руками, остановился, как бы ожидая грома небесного, который разразит его, потому что дольше жить он не мог. Он так сильно желал в эту минуту катастрофы, что почти чувствовал ее приближение и не сомневался, что сейчас она постигнет его.

— Будь предан ближнему твоему, — раздался тихий голос Гирли, — это божественный закон, но ожидай только неблагодарность от людей за свою преданность им. Такова высшая мудрость. Но пусть душа твоя будет всегда готова предстать с отчетом пред судом Всевышнего, потому что ты не знаешь, когда придет смерть твоя. Однако бойся умереть не простив, потому что умерший и не простивший идет в вечность, вооруженный кинжалом, лезвие которого на рукояти, обращенной к нему самому... Не вы первый — не вы последний, — добавил Гирли вздохнув. —

Откуда вы взяли то, что наболтали тут мне?

— Я не слеп и могу видеть!

— Нет, вы слепы; но никто не рождается мудрым, всякому человеку нужны уроки жизни. Неужели вы думаете, что между светлейшим и Идизой не может существовать иных отношений, кроме тех, о которых говорите вы?

— Какие ж эти отношения? Какие? Скажите! Иных даже выдумать нельзя, не только допустить существование их...

— А отношения чисто отеческие, близкие, как опекуна... Да разве ее самое-то вы забыли? Разве сама она, чистая и непорочная — посмотреть на нее довольно, чтобы убедиться в этом, — разве она похожа на то, что вы говорите?

Уже несколько минут тому назад, когда он видел спокойное лицо Гирли и когда он замолк, Орленев ощутил в душе предчувствие вины, он предчувствовал уже, что наделал глупостей. И теперь это предчувствие оправдывалось. Но разыгравшаяся в Сергее Александровиче ревность, доведшая его до сумасшедшего поступка, не уступала так сразу

своего места благоразумию.

— Но зачем же опекуну скрывать имя опекаемой и скрывать ее самое? — проговорил он.

— Оттого, что, может быть, в этом имени для нее вся беда и опасность... Сказать вам, кто она, я должен, но боюсь даже здесь громко назвать ее... Поймите, что малейшая неосторожность, и ей может грозить участь княжны Таракановой... Поняли?

Вслед затем Гирли, близко подойдя к Орленеву, проговорил ему на ухо несколько слов шепотом.

Сергей Александрович стоял, как громом пораженный, но не тем, которого он ждал.

— Ах Боже мой, что я наделал! — вырвалось у него в отчаянии.

Гирли улыбаясь смотрел на него.

— Что вы наделали? Ничего! Вы наговорили мне много глупостей — и только... Обидных, непростительных глупостей...

— Я не знаю, что делать теперь!

— Быть счастливым по-прежнему.

— Послушайте, чем мне загладить мою вину пред вами?

— Предо мной я не считаю вас виновным. Вам нужно было пережить этот урок...

— Но я обидел вас.

— Помните, что я говорил вам про обиду? Нет ее, и я не хочу знать те условия, при которых люди обижаются. А теперь довольно, и не будем говорить об этом. Ну, рассказывайте, вы сегодня утром виделись во дворце?

— С кем?

— Конечно с Идизой. Ведь вы же сегодня — дежурный во дворце. Она должна была вызвать вас в сад, чтобы вы могли поговорить наедине... Так я ей сказал вчера... Я хотел сделать сегодня для вас неожиданность.

Так вот отчего Гирли вчера умолчал о том, где мы свидимся! — сообразил Орленев. — А я-то, вместо того чтобы попасть на дежурство, забыл обо всем!

И с новым приливом стыда и раскаяния Сергей Александрович должен был признать-ся в том, как провел сегодняшнее утро.

Гирли пришлось снова утешить его.

XIII

Смерть

1

Пакеты, привезенные Орленевым, Гирли Потнес к светлейшему сам, и когда вышел от него, то сказал, что Потемкин велел Орленеву не уезжать, а остаться в Царском и ждать в дежурной, пока он не позовет его.

Все равно, если бы Сергей Александрович и вернулся в Петербург сегодня, ему поздно было бы ехать в Таврический дворец. Завтра же он чем свет может выехать из Царского, — потому что Потемкин уезжает в пять утра, — и прямо отправиться к Идизе.

Как ни мечтал Орленев, что авось ему удастся как-нибудь сегодня увидеть ее, но делать нечего: приходилось быть послушным и покориться, чтобы хоть этим искупить свою вину и опрометчивость.

Гирли сказал тоже, что едет сейчас в Петербург и что, может быть, раньше его, Орленева, увидит Идизу и расскажет ей, как не по-

пал тот сегодня на дежурство, потеряв совершенно голову от счастья.

Словом, все устроилось и все снова было хорошо и счастливо.

Поздно ночью Потемкин призвал Орленева к себе. Он поздравил его с выбором невесты, сказал, что любил и хорошо знал его дядю (он повторил это опять) и что дядя всегда желал, чтобы эта свадьба состоялась, и думал, что ему удастся самому присутствовать на ней. Однако, чувствуя приближение смерти, он просил Потемкина не оставить его племянника и, если свадьба его устроится, передать ему в день этой свадьбы шкатулку. Ключ от этой шкатулки светлейший отдал тут же Орленеву и сказал, что самое шкатулку он получит в день своей свадьбы, согласно дядину желанию.

Сергей Александрович слушал Потемкина и, смотря на него, не узнавал того человека, которым сравнительно недавно еще любовался во дворце. На светлейшем теперь были, несмотря на лето, бархатная, обшитая соболем венгерка и бархатные же сапоги, полное лицо казалось отекившим и было точно сквоз-

ное.

«Не хорош он! — думал Орленев. — И за чем он едет?»

На другой день Потемкин уехал. Сергей Александрович в числе нескольких приближенных лиц светлейшего был оставлен в Петербурге, и радости его не было конца. Теперь он каждый день виделся со своей невестой, которая по-прежнему жила в Таврическом дворце.

С Гирли он тоже видался постоянно. Потайная дверь на лестницу, ведущую вниз к старуку, оставалась теперь отпертой, и Орленев и утром, и вечером спускался к нему, а остальное время, когда оставался дома, проводил за книгами хранившейся у Гирли дядиной библиотеки.

Дело Маргариты кончилось ничем опять-таки благодаря Гирли. Ему удалось все сделать через маленького, такого же, каков сам он был в общественном положении, человечка.

Какой-то чиновник, опытный, седой, в очках, совершенно незаметно сидевший за секретарским столом обер-полицеймейстерской

канцелярии, оказался сильнее самого отца всесильного временщика Платона Зубова. Чиновнику конечно внесли соответствующую его положению сумму, и он обещал все обделать, употребив давно испытанный в канцеляриях способ, когда нужно было, чтобы что-нибудь исчезло из «бумажного производства».

Обыкновенно клали сальную свечку в такое производство, и оно съедалось мышами весьма быстро, так что ни от каких документов, писем и печатных произведений и помина не оставалось. Так было поступлено и на этот раз. В заарестованный у Маргариты ящик с книгами, который за накоплением других дел не успели рассмотреть еще, старый и опытный чиновник положил сальных огарков и смазал салом самые книги. Крысы, кажется, в две ночи прикончили с ними!

Кроме этого злополучного ящика у Маргариты, виновной, может быть, в другом чем, но никак уже не в политической пропаганде, ничего не нашли. За неимением улик ее оставили на свободе, но «в сильном подозрении», как говорилось тогда. Боялись тоже с ино-

странной подданной поступить не по закону, потому что могло вмешаться посольство.

С Маргаритой Орленев виделся несколько раз по поводу покупки ее имения. Хотя дело и устроилось, но она все-таки предпочла обратить землю в деньги, чтобы быть свободной и независимой. Орленев же не прочь был купить имение, потому что у него и невесты было решено после свадьбы уехать из Петербурга как можно скорее. Не нравился им этот город!

Маргарита держала себя с Орленевым не то что странно, но так, что тот должен был все время приглядываться к ней для того, чтобы разобрать, притворяется она или нет. Жизнь она вела теперь совершенно безупречную, почти отшельническую, но не могла, получив деньги за имение, удержаться от двух удовольствий — от покупки целого вороха нарядов и от приобретения собственных лошадей. Она завела себе и верховых, и упряжных и то и дело каталась на них.

Наряды, по ее уверению, были необходимою, а лошади — ее страсть.

Гирли виделся с ней очень часто.

Редкий день проходил, чтобы Орленев не узнавал от старика какой-нибудь новой подробности про Маргариту.

— Да отчего вы так интересуетесь ей? — спрашивал его Сергей Александрович.

— Ах, она несчастная такая! — отвечал Гирли, и больше от него нельзя было ничего добиться.

2

Бывает так, что обстоятельства слагаются сами собой, как будто их кто-нибудь нарочно с заранее обдуманном намерением подтачивает.

Как нарочно, Орленев в этот день вернулся несколько ранее обыкновенного из дворца домой и против обыкновения же сел читать не в комнате у Гирли, а у себя наверху — и книга у него была развернута на подходящей странице тому, что случилось потом.

«Провести жизнь свою в погоне за преходящими земными благами значит осудить себя на вечную смерть», — читал он, когда к нему вошел слуга с докладом, что его спрашивает какой-то человек по очень важному и

спешному случаю.

Орленев велел позвать «человека» в переднюю и сам вышел к нему.

Человек оказался карликом, служащим у Маргариты, и Орленев тотчас же узнал его.

Появление вечером карлика от француженки было несколько странно.

— Вы с запиской? — спросил Орленев.

Карлик, обыкновенно очень забавный своим желанием сохранить собственное достоинство и казаться необычайно солидным, на этот раз оставил все свои ужимки и попросту стоял пред Орленевым со склоненной по-детски набок головой и с шапкой в руках.

— У нас несчастье! — проговорил он. — Барыня... разбились... и очень больны-с...

— Разбились? Как же так?

— Сегодня вечером после обеда поехали на новой лошади верхом кататься... и конюх с ними... В первый раз на этой лошади они поехали. А лошадь была непутевая — сбросила, и конюх ничего не мог сделать.

— И что же, сильно разбились?

— Насилу до дома могли привезти. На извозчике доставили. И совершенно без чувств.

Говорят, голова раздроблена и грудь повреждена.

— Доктор есть у них?

— Насилу тоже нашли. Доктор и привел их в чувство.

— Что же доктор говорит?

— А он призвал меня и говорит: «Кто такой господин Гирли?»

— Я спрашиваю про больную... Про барыню-то что он сказал?

— Этого ничего не говорил и я не знаю. А только барыня верно ему про господина Гирли говорили. Он меня и спрашивает: «Кто такой господин Гирли?» Я объясняю, что, мол, так и так, господин Гирли — музыкант и живут в доме у господина Орленева. Доктор говорит, что барыня и про вас упоминали, и велел мне идти к вашей милости и просить, чтобы сейчас или господин Гирли пришел к ним, или, если их нет, чтобы ваша милость пожаловали.

Карлик добросовестно и толково исполнил свое поручение, но по-видимому на это исполнение потратил весь свой запас смысленности, и потому ни в чем дальнейшем нельзя

было добиться у него толка.

Что ни говорил Гирли про Маргариту — не лежало у Орленева сердце к ней, и первое, что он подумал, — не мнимый ли весь этот инцидент падения с лошади? И он, не будь тут доктора, который посылал карлика, ни за что не поехал бы. Но теперь он задумался.

— А доктор там, у вас? — спросил он еще.

— Теперь уехали, но сказали, что опять будут.

Это окончательно убедило Орленева. Уж если доктор нашел нужным приехать вторично, значит, что-нибудь было серьезное.

Однако Гирли не было дома, а потому Сергей Александрович сказал: «Хорошо, я поеду сейчас», — и велел поскорее закладываться.

Раз убедившись в истинности происшествия с Маргаритой, он считал, что грешно не поехать к Маргарите. Кроме вертлявой служанки в шелковом передничке, кучера да вот еще карлика никого у нее не было, и оставлять ее на руках у слуг было безжалостно.

Будь дома Гирли, Орленев успокоился бы тем, что отправил бы к ней старика, но теперь приходилось ехать самому, тем более

что об этом просила сама больная.

3

Когда Орленев, введенный служанкой, вошел в спальню Маргариты, последняя лежала у себя на постели, покрытая голубым атласным одеялом, с белой повязкой на голове, плотно охватывавшей ее низкий, прямой лоб. Она лежала со сложенными руками, и, взглянув ей в лицо, Сергей Александрович невольно ужаснулся, до того изменилось это лицо. Бледности оно было непомерной. Сжатые в прямую черту губы были совсем синие, глаза закрыты, нос как будто заострился, в щеках не было ни кровинки.

«Да она умерла уже!» — первое, что пришло в голову Орленеву, когда он увидел в таком виде Маргариту.

— Должно быть, опять забылись, — шепотом пояснила служанка, — она все время так: то придет в себя, то опять забудется... Несколько раз про вас и про господина Гирли спрашивали...

Вслед за тем она шепотом стала рассказывать, как она, только что сев за ужин, вдруг

услышала, что бежит карлик к ней и говорит, что привезли барыню, которую разбила лошадь. Барыня отлично ездил, но лошадь сбросила ее, потому что она ездил слишком рискованно. Ей и конюх советовал не садиться на эту лошадь, но она не послушала, и вот что случилось!

Из всего рассказа болтливой служанки Орленев понял самое главное, что Маргарита, упав с седла, попала под лошадь, которая ударила ее копытом в голову и грудь.

Служанка сняла со стула таз со льдом и пригласила Сергея Александровича сесть, уверяя, что сейчас вероятно барыня придет в себя и пожелает говорить с ним. Орленев сел в ногах кровати, так что безжизненное лицо Маргариты с закрытыми глазами пришлось прямо против него. Она лежала так тихо, точно дыхание оставило ее.

— И все время она так? — спросил он у служанки.

— Да, теперь почти все время так... Только после того, как доктор уехал, — он ей дал лекарство сам, — она пришла совсем в себя и спросила бумагу и карандаш.

— Вот как! Значит, она была в силах писать?

— Едва-едва, не поднимая головы. Велела держать бумагу пред собой на книге, написала на ней и приказала спрятать в этот столик, — и служанка показала на стоявший у постели столик. — Ну, я пойду переменить лед! — добавила она и, взяв с собой таз, вышла из комнаты.

Орленев остался один лицом к лицу с умирающей. Иначе нельзя было назвать Маргариту в том положении, в котором находилась она.

Спальня была очень мило убрана — вся атласная голубая. Мягкий свет лился из-под голубого абажура лампы. Сама Маргарита лежала на кружевных подушках, под голубым атласным же балдахинном. Не было ничего ужасного кругом, ничего страшного, только лицо больной, безжизненно бледное, производило жуткое впечатление.

Орленев смотрел на нее, как бы желая уловить тайну смерти, близость которой чувствовалась тут, в этой атласной, пахнувшей мускусными духами комнате.

Маргарита была еще молода, молода настолько, чтобы пользоваться жизнью, улыбающейся ей наконец, своими благами, и вот вместо этого приходится ей лежать недвижимо, готовясь расстаться с этой жизнью.

Орленев живо представил себе, как она еще утром вероятно была весела, довольна и жизнерадостна, как собиралась ехать кататься, думая найти удовольствие, времяпровождение там, где ждал ее холодный скелет смерти, безжалостно собирающий своей косою послушную ему жатву.

И что же останется ей от тех земных благ, которых она искала в течение жизни? Думает она теперь о них, жалеет их? Да, все наши вожделения падут и рассеются в прах, распадение нашего видимого тела наступит раньше, чем думаем мы. Но ведь смерть, наша человеческая смерть, есть рождение в другой, лучший мир.

Маргарита медленно подняла веки, глаза ее открылись, и взор остановился на Орленеве.

— Лиана! — проговорила она.

— Ее нет, она пошла за льдом! — ответил

Орленев, поняв, что больная спрашивает служанку.

Она помедлила немного и потом, как бы отдохнув от усилия, которого ей стоило первое слово, также с трудом проговорила опять:

— Гирли?

— Его нет здесь. Его не было дома, когда Вы прислали за нами. Но я сказал, чтобы, как только он вернется, ему сообщили обо всем, и он сейчас приедет.

— Доктор!

— Не возвращался еще. Он обещал заехать вторично.

— Вы... одни?..

Орленев понял, что Маргарита хотела спросить, один ли он с ней в комнате. Она не двигала головой и видела только то, что было впереди нее.

— Да, я один здесь, больше никого нет, — глухо проговорил он (ему страшно стало в этот миг)...

Больная хотела сказать «благодарю вас», но на этот раз слова не вышли у нее.

— Вам больно? — участливо спросил Орленев.

— Стол! — вдруг, шире открывая глаза, ясно и громко произнесла Маргарита.

Сергей Александрович думал, что она начинает бредить, и привстав хотел отойти, но она так выразительно посмотрела на него, с таким желанием, чтобы он понял ее, что он действительно понял, сообразив, что дело идет наверно о записке, которую она писала на книге и о которой говорила служанка. Он подошел к столику у кровати и выдвинул ящик.

— Возьмите! — услышал он голос Маргариты.

Записка, сложенная вдвое, лежала наверху. Сергей Александрович взял ее и показал больной. Та закрыла глаза в знак подтверждения.

— Взять мне, спрятать к себе? — спросил он.

Маргарита снова опустила веки. Он спрятал записку в карман.

Больная сделала новое усилие и проговорила:

— Ключ!

В ящике стола лежал бронзовый ключик.

Орленев взял и его и показал француженке.

— Этот?

Веки опустились.

Орленев догадался, что она хочет, чтобы он этим ключом отпер что-то, и стал спрашивать:

— Этот ключ от вашего бюро? Глаза остались открытыми.

— От шифоньерки?

— Да! — ответила Маргарита.

— Шифоньерка здесь, в спальне?

Снова «да!».

Орленев огляделся и увидел черного дерева с инкрустациями шифоньерку и подошел к ней и отпер. Там оказалась груда лент, цветов и несколько футляров с драгоценностями. Он подошел к кровати больной.

Она в это время, перемогая себя, старалась повернуть голову так, чтобы видеть шифоньерку. Наконец это удалось ей. Она слегка повернула голову и застонала.

— Там есть секретное отделение? — сообразил Орленев. — Нужно надавить какую-нибудь кнопку?

— Да!

Больная видимо была рада, что он догадался.

Орленев вернулся к шифоньерке, внутренность которой была отделана маленькими гвоздями в виде кнопок, и стал нажимать по очереди. На одной из них откинулась дощечка, и из-под нее упал небольшой сверток бумаги.

Подойдя снова к Маргарите, Орленев нашел ее опять с закрытыми глазами. Она больше ничего не говорила и не смотрела на него.

Через несколько времени она начала стонать, сначала тихо, потом все громче и громче. Мало-помалу стоны ее перешли в крик, отчаянный, дикий; она кричала и металась на постели.

Орленев не знал, чем и как помочь Маргарите. Он видел, что она страдала, и страдала ужасно, но облегчить ее страдания не был в силах ничем, и он послал за доктором просить его приехать как можно скорее.

Незадолго до приезда доктора Маргарита стихла.

Когда врач приехал, все было уже кончено. Француженка мертвая, без движения, лежала

под атласным балдахином своей постели.

XIV

Повесть Гирли

1

Когда Орленев вернулся к себе домой, первым, что спросил он, было вернулся ли старик музыкант и сказали ли ему о том, куда и почему уезжал он, Орленев, из дома. Оказалось, что старик только что сейчас вернулся и что ему сказали, как было велено.

Сергей Александрович прошел к себе наверх и по знакомой уже лестнице спустился в комнату, где хранились книги.

Он застал там Гирли наклоненным над столом и переливавшим из одного сосуда в другой прозрачную струю того самого эликсира, о чудодейственной силе которого ему рассказывал недавно старик, называя его эликсиром жизни. Орленев видел, что он готовил прием лекарства, которое очевидно хотел захватить с собой, узнав, что случилось с Маргаритой...

— Поздно! — остановил его Сергей Алек-

сандрович. Гирли поднял голову и выронил склянку с эфиром.

— Как поздно? — спросил он.

— Маргарита скончалась. Она умерла почти у меня на глазах. Там был доктор. Он сказал, что в смерти нельзя сомневаться. Рана в голову и грудь раздавлена... Она не могла вынести это...

Гирли тихо опустился в кресло. Его чрезвычайно всегда спокойное, бесстрастное лицо исказилось, на нем изобразились такая скорбь, ужас и отчаяние, что Орленев никак не мог предполагать даже, что этот, как казалось, все знавший и все предвидевший человек мог быть пораженным настолько.

— О Господи! — вздохнул Гирли и опустил голову.

Из опрокинутой склянки лился на скатерть стола эликсир, каждую каплю которого Гирли берег и ценил, но теперь он не видел и не замечал этого. Он сидел, поникнув головой и опустив руки, и потерявшими всякое осмысленное выражение глазами смотрел пред собой. Что было общего между ним и Маргаритой? Почему ее внезапная смерть так

поразила его? Орленев не мог найти объяснения из того, что было известно ему до сих пор.

— И, может быть, вернись я раньше хоть получасом домой — она была бы жива теперь! — проговорил наконец Гирли.

Орленев, чтобы хоть в этом отношении успокоить его, стал уверять, что все равно было поздно, что рана, полученная Маргаритой, была, по словам доктора, безусловно смертельна.

Он никак не мог ожидать, что известие о француженке так поразит старика, — иначе он не сообщил бы ему так прямо. Теперь он уже жалел, что не подготовил его.

— Да, — как бы сам с собой рассуждал Гирли, — я слишком нелепо желал сделать добро, почти путем насилия, и вышло зло... вышло зло, — повторил он.

Орленев сел против него. Ему от души жаль было старика, но все, что он ни говорил, он видел, не затрагивало того, что было главным для Гирли, а в чем искать это главное, он не знал.

— Итак, все кончено, все кончено? Она умерла? Вы сами видели это? — спросил Гир-

ли.

Орленеву оставалось только подтвердить это.

— Ну хорошо, — протянул старик и положил руку на руку Орленева. — Вот что теперь: оставьте меня одного...

Молодой человек хотел встать, чтобы исполнить эту просьбу.

— Впрочем нет, — остановил его Гирли, удерживая за руку, — нет, оставайтесь... погодите!.. Ведь не мог я раньше вернуться... не мог!.. Они опять связали меня...

Орленев понял, что Гирли опять был где-нибудь на холостой пирушке, где пьяная компания потешалась над ним, и воскликнул:

— Я удивляюсь, как вы позволяете разным этим господам эти выходки!

— Над кем?

— Над собой конечно.

— Над собой? — улыбнулся Гирли, и эта улыбка только больше подчеркнула выражение отчаяния в его лице. — Да разве я принадлежу себе?.. Разве моя жизнь принадлежит мне?

— А кому же? Конечно вам принадлежит

она.

— Нет! Если бы это было так, я уже не жил бы... или во всяком случае меня не было бы здесь... Нет, жизнь моя не принадлежала мне до сих пор.

— А теперь?

— А теперь она умерла — Маргарита умерла, — проговорил старик.

Ясно было, что он почему-то связывал собственное существование с жизнью Маргариты.

2

— Да, вы правы, — ответил Гирли, когда Орленев спросил его об этом, — ее жизнь связана с моим существованием. Я думал, что об этом не придется мне рассказывать больше никому, но вот, видимо, требуется от меня еще раз моя исповедь.

— Исповедь? Но разве у вас может быть в жизни что-нибудь такое, в чем нужно было бы каяться?

— Отчего вы это спрашиваете? Отчего вы думаете, что этого не может быть?

— Господи! Да ведь, насколько я знаю вас,

вы — почти святой человек. Я вижу, как вы живете, вижу ваши поступки... Дурной человек не может жить так...

Гирли закрыл лицо руками.

— Дурной человек! — повторил он. — Я не могу сказать, что я — дурной человек, не думаю этого... Однако в жизни своей я сделал зло — невольное, нежеланное, но страшное дело. Непоправимо оно было. Всей дальнейшей жизнью я силился загладить его, и вот все мои старания пропали даром, все усилия разбились сразу, в один день.

Орленев боялся уже сделать какой-нибудь вопрос еще, чтобы не перебить начавшего рассказывать свою «исповедь» старика. Он видел, что тому было тяжело, несомненно тяжело, если такой человек, как он, сгибался под этой тяжестью.

— Я вам расскажу все, — продолжал Гирли, — все, как это случилось.

Вот видите ли... Лет двадцать тому назад приехал в Тулон на одном английском судне матрос, находившийся в числе его экипажа. Матрос бывал уже в плаваниях и мог настолько владеть французским языком, чтобы объ-

ясниться во французском городе.

На берег с судна отпускали по очереди. Очередь эта не сразу дошла до матроса. Большинство товарищей уже побывало на берегу. Наконец настал и для него день отпуска. Как ни приятна для морского человека вода, ставшая для него родной стихией, но во время плавания большая радость, когда позволят наконец отправиться погулять на сушу. Матрос отправился на берег с партией товарищей. Обыкновение было таково, что проводили время вместе. Но этому матросу не хотелось пить вместе с товарищами, и он один отправился осматривать незнакомый ему город.

Послonyaвшись по улицам, он попал на рыночную площадь. Торговля была в полном разгаре. Почти все кухарки города были тут за провизией и делали на день закупки у торговков, расставивших в корзинах свой товар на площади. Молоденьких и хорошеньких лиц было тут слишком много, чтобы не увлечься ими. У матросов было тоже принято отправляться на рынок в портовых городах и, если представлялся случай, сводить знаком-

ство тут. Так было и на этот раз. Матрос наметил одну служанку, заговорил с ней под предлогом какого-то вопроса, она ответила, он спросил ее еще какие-то пустяки; кончилось тем, что он предложил донести ей до дома ее корзину. Служанка смеясь согласилась, и они пошли. Она была очень рада, что не должна была тащить тяжелую корзину, и весело болтала до самого дома. Придя домой, служанка пригласила матроса, если он голоден, позавтракать у нее за оказанную им услугу. Господе не было дома. Ход в кухню был через двор, обнесенный забором, примыкавшим сбоку к домику, где жила служанка. Они вошли в кухню, завтракали, смеялись, и матрос, очень довольный собой и проведенным временем, простился наконец с гостеприимной хозяйкой, угостившей его вкусной ветчиной и кофе, и ушел, когда вернулся домой господин этой женщины.

Отойдя несколько от дома, матрос вздумал вернуться еще раз. Он думал, что времени у него еще много и что все равно деваться некуда. Пришло это ему в голову потому, что он был, повернув за угол, у самого забора доми-

ка. Он, недолго думая, перелез забор, очутился во дворе и решил испугать служанку. Подкравшись к отворенной двери в кухню, он увидел, что она стоит спиной у стола и что-то делает нагнувшись. Он вскочил и, бросившись к ней, толкнул ее сзади. Она, как была, не крикнув упала навзничь. Тогда только понял он, что сделал. Служанка чистила большой оперативный нож, держа его острием к себе. Когда он толкнул ее, она нагнулась на отточенное, как бритва, острие ножа, и нож вошел ей в грудь до самой рукоятки... Попал он в самое сердце. Смерть была мгновенная... Служанка не дернулась, не шелохнулась.

Первым движением матроса было схватиться за ножик. Только тронул он его — кровь так и брызнула... Чтобы остановить эту кровь, он схватил лежавший на столе приготовленный для барина платок и прижал рану. Платок быстро пропитался теплой, липкой кровью. Матрос бросил его и побежал вверх по лестнице, ведущей в комнаты к барину... Но тут его обуял непростительный, безрассудный, чисто животный страх, перешедший в ужас, и он, уже не помня ничего и ни-

чего не соображая, кинулся опять через забор бежать, бежать без оглядки, сам не зная куда. Добежав до набережной, он потерял сознание и упал почти замертво.

Очнулся он только в лодке, куда его уложили товарищи, найдя его на набережной и приняв за мертвецки пьяного. Они подобрали его и повезли с собой на корабль. Упав на набережной, он так выпачкался, что нельзя было разобрать оставшиеся на нем пятна крови. В тот же день корабль ушел в дальнейшее плавание.

Теперь Орленев знал разгадку рассказанного ему Маргаритой дела, в котором был обвинен судьями невиновный, но несчастный человек, потому что против него сложились неоспоримые улики.

— Ужасный случай! — повторил он, когда Гирли умолк, тяжело дыша. — Ужасный... Эта убитая служанка жила у доктора Дюваля... Я знаю, что его обвинили в убийстве...

— И знаете теперь, что он не виноват, и понимаете, кто был этот матрос? — выговорил Гирли.

Орленев сразу, еще в начале рассказа, дога-

дался, что дело идет о самом Гирли, и высказал это свое предположение.

— Да, это был я, — продолжал Гирли снова ясным и твердым голосом, — это был я, обезумевший тогда от страха и думавший только о себе. Но мы ушли в плаванье так поспешно благодаря неожиданному попутному ветру, что я не имел времени опомниться. Я не мог предполагать, что за меня пострадает невинный, и как-то потом из жалкого чувства самосохранения сделался со своей совестью, убедив себя, что ведь я не хотел убивать и цели мне никакой не было, что все это — случай и случай же меня сохранил от всякой ответственности, так зачем же я буду выдавать себя?

В плавании мы провели около семи месяцев, после которых опять попали на берег Франции. Мы стали на якорь. Я отправился с партией товарищей на берег. После случившегося со мной я совершенно бросил пить вино и курить и почти всегда уступал свою очередь отпуска кому-нибудь другому. Но на этот раз меня что-то неудержимо тянуло на берег, и я воспользовался своей очередью.

Товарищи пошли конечно в погребок, а я не пошел с ними, а остался на набережной и сел на скамейку, смотря на море. Я полюбил так сидеть и смотреть на тихое, широкое пространство воды. У ног моих валялся обрывок газеты. Я поднял его и стал разбирать. Газета была французская. Я мог читать по-французски, правда, плохо, но все-таки понимал смысл прочитанного. Описывался уголовный процесс доктора Дюваля. Я сразу узнал в нем происшествие, случившееся со мной семь месяцев тому назад в Тулоне. Говорилось, что все улики против доктора Дюваля, что даже след на лестнице пришелся по его башмакам. Рассказывалось подробно семейное положение доктора, сообщалось, что у него осталась дочь, что жена его умерла.

Как сумасшедший, сидел я с обрывком газеты, по которому нельзя было разобрать, от какого числа и месяца она была.

Должно быть, у меня лицо было очень бледно и сам я имел странный вид, потому что севший возле меня на скамейку прилично одетый господин спросил: «Что с вами?» Он узнал во мне по одежде английского мат-

роса и сделал свой вопрос по-английски. Помню, я мог выговорить только: «Дело... дело доктора Дюваля», — и совал свой обрывок газеты. Оказалось, это дело было общеизвестным на материке. Газеты занимались им очень много. Заговоривший со мной человек рассказал мне, что доктор Дюваль был уже казнен.

Дальше я не помню, что было со мной. Волнение и все, что я пережил в продолжение семи месяцев плавания, разрешилось приступом нервной болезни. С набережной меня перенесли в обмороке, но не на корабль, а в находившийся тут же поблизости дом, где я впоследствии пришел в себя через неделю. Здесь, в этом доме, я был воскрешен к новой жизни.

Вы спросите, что же дальше? Пошел я и заявил о том, как было дело, раскрыл судьям их ошибку? Да, это было первым моим желанием, я хотел идти и заявить. Но что же вышло бы из этого? Несчастный доктор был казнен, я не мог вернуть ему жизнь. Наказания за мой поступок по закону не полагалось, кроме церковного покаяния, потому что я был случайным убийцей. Я не мог даже своевременно за-

явить обо всем, потому что меня без памяти увезли на корабль, который ушел в море. И разве мог я предполагать, что за меня пострадает другой? Но, раскрыв себя теперь, когда все уже было кончено, я стал бы навеки врагом единственному существу, для которого я должен был жить, — девочке, оставшейся после смерти жены доктора Дюваля. Этого ребенка я искал всю свою жизнь. Те люди, которые взяли меня после обморока на набережной, вылечили мое тело и вылечили душу, научили меня, что мне делать и на что положить эту новую жизнь, к которой они вернули меня. Я прошел целый ряд испытаний, которым подвергся добровольно, наконец был отправлен в Россию, к вашему дяде, под руководство которого и поступил с тех пор. Он помогал мне, он учил меня.

Девочка родилась в Пиренеях, и там же умерла ее мать. Я был там, но все, что мог узнать, было следующее: ребенка звали Маргаритой (впрочем, ее имя было, и в газетах) и его взял кто-то на воспитание из милости. Однако ваш дядя постоянно поддерживал во мне надежду, что я найду этого ребенка. Я сам

был уверен, что не умру, не увидев, не положив своей жизни за бедную Маргариту Дюваль.

Годы проходили, мое желание не исполнялось. Временами я приходил почти в отчаяние. Помню, сколько раз твердил мне ваш дядя: «Сообразуй силы свои не для того чтобы падать духом пред препятствиями, но чтобы терпеливо, как вода капля по капле точит камень, преодолеть их. Только постепенно можно достигнуть намеченной вершины». Я смирялся, думал, изнемогал, ища все одного и того же.

В одну из минут упадка духа ваш дядя, чтобы поддержать меня, дал мне задачу наблюдать за Идизой. Он сказал мне, кто она и как нужно оберегать ее. С тех пор я неотлучно был при ней.

Когда я уезжал, думая, что открыл след Маргариты, мне было позволено брать с собой Идизу, но лишь под условием беречь ее в тайне. В одну из таких поездок она в Лондоне встретила с вами. Ваше письмо о ней к дяде дало последнему мысль со временем соединить вас. Теперь время это наступило. Идизу

я полюбил всей душой, с ней мне легче было жить.

И вдруг после долгих лет искания я нашел наконец то, что искал. Совершенно неожиданно, почти случайно, я встретил Маргариту в авантюристке-француженке, явившейся в Петербург.

Это было и радостью, и ударом для меня в одно время. Я был счастлив, что нашел ее, но она оказалась по жизни такова, какой не должна была быть девушка честной семьи. Будь живы ее отец и мать, она, может быть, была бы счастлива или несчастлива, но ни в каком случае не стала бы тем, чем явилась в Петербург. И так или иначе, но этому причиной был не кто иной, как я.

Однако цель моей жизни была у меня в руках. Да, я чувствовал себя виноватым, но видел утешение в том по крайней мере, что не лишил себя возможности хотя несколько исправить причиненное мной зло. И я принялся за дело.

Натура Маргариты, от природы добрая, оказалась сильно испорченной. У нее бывали порывы, когда ничто не могло повлиять

на нее. Нужно было действовать постепенно, нужно было мало-помалу будить в ней хорошие стороны ее души. Я принялся за дело горячо и, может быть, слишком круто. Но мне хотелось наверстать потерянное время. Однако только недавно я увидел плоды своих усилий. Я заметил в ней явный поворот к перерождению, к лучшему, и судьба улыбнулась ей, бедняжке... Как вдруг сегодняшний случай... И нет ее в живых, нет больше! — заключил Гирли и снова спрятал лицо, закрыв его руками.

XV Демон

1

Орленеву от всей души было жалко старика, положившего всю свою жизнь на искупление своего невольного греха и не достигшего этого искупления, но он ничего не мог сказать ему в утешение, потому что фактов для этого у него не было никаких, а только ими можно было подействовать на Гирли. Все, что бы ни начал говорить Орленев в смысле утешения, так сказать, чисто отвлеченного, вероятно, было лучше его известно старику, умевшему на глазах того же Орленева справляться со своими душевными движениями, а главное, знавшего жизнь гораздо лучше его, и потому учить его не приходилось. Да и сказать в сущности ничего нельзя было.

— Что же, — решился наконец проговорить Сергей Александрович, — теперь нужно подумать пока об одном — как похоронить

Маргариту Дюваль. Нужно, чтобы вы позаботились об этом.

Он хотел направить мысли старика хоть на какую-нибудь деятельность, чтобы отвлечь их.

Гирли ничего не ответил.

Подлое животное чувство вдруг, точно демон какой-нибудь выскочил из расселины и запрыгал пред ним, потрясая горячими угольями, охватило Орленева. Впрочем, это чувство было приятное, и приятность заключалась в том, что Сергей Александрович, видя горе другого человека, не мог удержаться от того, чтобы не подумать, как все-таки хорошо, что с ним с самим ничего подобного не случилось. Это пришло у него помимо его воли, само собой, как приходит всегда у всех людей, видящих несчастье другого и сейчас же ощущающих себялюбивое сознание собственного благополучия.

— Вы знаете, до чего дошла Маргарита? — проговорил Гирли. — Оставленная на произвол судьбы, встретившая на своем пути один только порок, она в последнее время своего житья в Париже предалась сумасшествию так

называемой черной магии и даже участвовала в ужасах черной обедни. Так поймите, чего стоило подействовать на ее душу, какую борьбу пришлось вынести для того, чтобы руководить ею. Но по крайней мере она умерла не нераскаявшаяся. Мне удалось вернуть ее на истинный путь.

— Что такое черная обедня? — спросил Орленев.

— Это остаток безумия средних веков и тогдашнего суеверия и безобразия. Вы помните народную французскую сказку о «Синей Бороде»? Ну так она основана на действительном происшествии, причем это происшествие гораздо ужаснее сказки. Граф Жиль, прозванный «Синяя Борода», потому что волосы у него были черны, как воронье крыло, и отдавали в синеву, был судим и процесс его сохранился в архивах. Он известен как подлинный.

Граф Жиль обладал большим замком, где и жил постоянно, слывя в окрестности даже набожным человеком, потому что в замке была часовня и жил капеллан, а из деревенских детей был составлен хор, живший тоже в замке.

Но все это было только для вида. На самом деле в замке, в секретной башне, была устроена так называемая черная часовня, где граф и мнимый капеллан, бывший на самом деле человеком, преданным сумасшествию колдовства, совершали омерзительные обряды, во время которых ими приносилась человеческая жертва. Онц убивали детей из своего хора, воображая, что именно во время этого убийства получают тайну делания золота и силу творить чудеса.

Убийство совершалось за убийством, но конечно никакой тайны не открывалось и никакой силы они не получали.

Так шло время. Наконец граф Жиль женился и перевез свою молодую жену вместе с ее сестрой к себе в замок.

Никто ничего не подозревал за ним, а между тем убийства в башне продолжались. Однако исчезновение детей объясняли просто смертью. Хор постоянно пополнялся.

Выведенный из терпения напрасным ожиданием, Жиль наконец приступил настойчиво к своему капеллану, чтобы тот отыскал по своим книгам причину их неудачи. Капеллан

принялся за таинственные выкладки и вычислил наконец день и час, когда, по его мнению, непременно должно было совершиться желаемое. Граф сделал вид, что едет на охоту, и прощаясь передал ключи от замка жене с запретом отворять одну лишь дверь секретной башни. Он условился с капелланом, что они встретятся в охотничьем домике и тайно вернутся в замок. Тут, в этом домике, капеллан потребовал, чтобы на этот раз была принесена в жертву сама жена графа, и тогда он получит могущество. Граф сначала возмутился этим и пожелал сейчас же вернуться в замок.

А там, только что он уехал, его жена с сестрой, подстрекаемые любопытством, отперли запретную дверь и вошли в башню. Они увидели там устройство часовни и ужаснулись, но, вместо того чтобы бежать, поднялись по лестнице в следующий этаж, где хранились чашки с запекшейся кровью убитых графом жертв. Они толкнули одну из чашек, и на каменный пол плеснулась кровь. Тогда они хотели замывать это, но, чем больше лили воды, тем больше распускалась в ней запекшаяся

кровь, и пятно расплывалось. Вдруг они услышали шаги. Сестра графини успела выбежать на верхушку башни, жену же свою Жиль застал внизу. Капеллан сказал ему тогда, что вот сама жертва пришла ко времени в башню и что нужно воспользоваться этим.

Граф принял это за указание судьбы и приступил к совершению своих обрядов.

Сестра графини, все слышавшая наверху, заметила в это время братьев, которые ехали в замок. Она стала кричать им, чтобы они спешили, ехали скорее, и они успели доскакать вовремя. Граф Жиль был пойман на месте преступления, предан суду, судим и сожжен на костре живым, вместе со своим капелланом.

— Неужели все это правда и безумие могло дойти до таких пределов? — спросил Орленев.

— К сожалению, правда. И ужасы черной обедни не прекратились до наших дней.

— Как? И убийство продолжается?

— Да, только теперь убиваются петухи.

Рассказ Гирли сильно поразил Орленева. Та самая Маргарита, которую он знал, оказывалось, была замешана в ужасах и непотребстве безумия зла.

Записка, написанная ей пред смертью, и сверток из ее шифоньерки лежали в кармане у Орленева. Только теперь вспомнил он про них, и теперь они точно обожгли его. Что они содержали в себе? Может быть, страшные и нелепые тайны этого самого безумия? И Орленев с гадливостью и отвращением достал записку и сверток.

— Что это? — спросил Гирли.

Сергей Александрович объяснил и сказал, что только теперь вспомнил про переданные ему Маргаритой бумаги.

— Я не знаю, что делать с ними, возьмите их, — сказал он.

Гирли, как бы уже готовый ко всему, готовый к новому несчастью, которое для него, как бы велико ни было оно, не могло превзойти случившееся с ним, протянул руку и взял сложенный листок бумаги, который переда-

вал ему Орленев. Рука его сильно дрожала.

Он взял записку, развернул ее, прочел, прочел еще раз. Сергей Александрович видел, что он узнал из этой записки что-то очень важное — так вдруг изменилось его лицо, то есть не изменилось оно, а стало вдруг прежним, строгим и сосредоточенным. Он опустил руки и закрыл лицо, точно мало-помалу приходил в себя.

— О Господи! — проговорил он наконец медленно и тихо. — Поистине испытуешь, и пути Твои неизъяснимы. Только в Твоих руках помощь и Твоим произволением жив человек. — Он снова умолк, потом спросил: — Эту записку, вы говорите, писала сама Маргарита?

— Да, так мне рассказывала горничная. Маргарита писала при ней.

— Это ее рука, несомненно, — подтвердил Гирли, — хотя видно, что она писала с большим трудом. Прочтите! — и он обратно протянул записку Маргарите Орленеву.

Большими, размашистыми и нетвердыми буквами на этой записке значилось:

«Не хочу, чтобы меня похоронили под име-

нем, мне не принадлежащим. Имя Маргариты Дюваль я взяла себе самовольно, случайно напав в старых газетах на процесс доктора. Никогда я его дочерью не была, а выдавала себя за нее, потому что это была реклама, и я возбуждала к себе участие. Деньги свои оставляю единственному человеку, хорошо ко мне относившемуся, Гирли. Хочу, чтобы на моей могиле было настоящее мое имя...»

Записка была не кончена. Написана она была по-французски.

В свертке оказались подлинные документы француженки, подтверждавшие, что она — не Маргарита, а Люция Шарлотта Мария Пужи, дочь сапожника в Марселе. Тут же лежал чек на предъявителя банкиру Сутерланду на сумму, полученную за имение.

Орленев понимал, что все это было и утешительно для Гирли, и вместе с тем подавало повод к новым догадкам и новому волнению и беспокойству. Если женщина, выдававшая себя за Маргариту, умерла и после ее смерти оказалось, что она была не та, которую всю свою жизнь искал Гирли, — это еще не было доказательством тому, что настоящая Маргарита жива. Может быть, и ее уже давно нет на свете. Но если даже она и жива, то как и где искать ее?

— Ну, что же, — сказал все-таки Орленев, стараясь ободрить старика, — нужно приняться опять за поиски сначала. Вы, насколько я знаю, не из тех людей, чтобы унывать или задумываться пред препятствиями.

— Да, опять сначала, — повторил Гирли. — Боже мой, сколько раз принимался я сначала, терпеливо и безропотно, и — делать нечего — возьмусь опять, но как? С каждым годом я становлюсь нетерпеливее, потому что чувствую, что старость берет свое и дни мои приближаются к концу. Неужели я умру, не най-

дя настоящей Маргариты Дюваль?

Орленеву от всей души было жалко старого Гирли. Он страстно желал помочь ему, но понимал, что это вне его власти и возможности.

Однако он все-таки постарался хотя бы вопросами выразить свое участие.

— Вот что, — начал он подумав, — если эта француженка могла взять имя настоящей Маргариты Дюваль, то, может быть, сама Маргарита скрывается где-нибудь тоже не под своим именем, а почему-нибудь оно изменено у нее.

— Может быть! — согласился Гирли, снова опуская голову.

— Ну так вот, нет ли какой-нибудь приметы, по которой можно было бы узнать ее? Ведь вы выяснили

себе все подробности, которые касаются ее. В этих подробностях нет ли чего-нибудь такого, что даст хоть нить?

— Есть. Медальон! Хозяйка квартиры, где жила мать Маргариты и откуда взяли на воспитание девочку неизвестные люди, рассказывала мне, что у нее был медальон.

— Она вам описала его?

— Медальон небольшой, овальный, с бриллиантами наверху в виде сияния, а внутри миниатюра, изображающая двух детей.

Орленев задумался. Он смутно припомнил что-то. Ему казалось, что нечто подобное этому медальону он видел и притом сравнительно очень недавно, но где именно, как и при каких условиях, не мог догадаться и силится припомнить.

И вдруг ему представились с полной ясностью балаган, сцена, клетка со львами и там маленькая Шарлотта с медальоном на шее.

Неужели это была она, настоящая Маргарита?

— Знаете что, Гирли? — проговорил вдруг Орленев. — ожет быть, я напал на след той, которую вы ищете.

— Напали на след?

— Да.

Гирли улыбнулся и, махнув рукой, ответил:

— Сколько раз я думал то же самое!

— Я вам и не говорю уверенно, — подхватил Орленев, — может быть, я и ошибаюсь, но

во всяком случае дело похоже на правду. Я знаю только, что я видел на днях молодую девушку с медальоном на шее, и именно, насколько я помню, на нем было из бриллиантов нечто вроде сияния.

— Где же вы видели ее?

— В балагане на представлении; она входила в клетку со львами.

— В клетку со львами? Вы думаете, что бедная Маргарита могла попасть в трупшу странствующих комедиантов?

— Отчего же нет?

— Оттого, что она была взята на воспитание людьми, по-видимому, состоятельными; пропади она без вести, можно было бы предположить все что угодно, но при тех подробностях, которые я знаю, едва ли это вероятно,

— Все это так, — согласился Орленев, — но я говорю вам лишь о том, что видел. Можно во всяком случае пойти отыскать эту девушку и посмотреть ее медальон.

— Конечно нужно пойти и посмотреть. Только едва ли это так. Впрочем, все может быть... все может быть, — добавил Гирли. — После того, что случилось со мной, я теперь

готов верить всему. Все может быть!

Когда, окончив свой разговор с Гирли, Сергей Александрович поднялся к себе и остался один сам с собой, он ощутил невольно некоторую приятность удовлетворенного сознания, что у него самого, Орленева, все было так хорошо и счастливо и у него было все в жизни — любимая им девушка, и она любила его, и он ее любил. Бедствия Гирли не касались его лично. Ему даже не хотелось думать о них теперь, когда он остался один. Мысли его были полны Идизой. И он заснул, грезя о ней еще наяву.

XVI

Сон

1

Орленев заснул, но то, что он видел во сне, было далеко от того, что составляло центр его мыслей наяву.

Он желал засыпая грезить только о ней, о той, которую любил, и желал, чтобы ее чистый и светлый образ не покидал его даже во сне. Но сон его был беспокоен, совершенно не таков, какого ждал он.

Вероятно происшествия вечера подействовали на него. Смерть француженки, потом рассказ Гирли произвели свое впечатление и отозвались ночью страшным, давящим кошмаром.

Сергей Александрович видел огромную башню, такую большую, какая только может присниться во сне, так что страшно было видеть ее. Форма ее была круглая и гладкая. Она была сложена из огромных тесаных камней, с зубцами наверху, с огромными, тяже-

лыми и неуклюжими зубцами.

Между этих зубцов Орленев видел двух гигантов. Один из них был в короне, точно такой, какая была на изображении на ковре у Потемкина в кабинете.

Эти люди были наверху башни и не обращали внимания на Орленева.

Что собственно они делали там, он не знал, как обыкновенно бывает во сне, но только чувствовал, что они не замечали его, как будто это-то и составляло главное их занятие, и башня была сделана для этого, и вошли они на нее исключительно для того, чтобы не замечать его.

Но это продолжалось недолго. Один из этих людей вдруг раздвинул губы, улыбнулся и протянул руку в сторону Орленева, показывая на него.

И как только он показал на него, Сергей Александрович сейчас же узнал их. Это были Гирли и Потемкин. Но наяву они были симпатичны ему, здесь же, наоборот, ему было и страшно, и жутко, и неприятно.

Неприятно еще тут было и то, что он не знал, что же ему делать с этой башней и с эти-

ми людьми, ставшими теперь для него обыкновенными, после того как он узнал их.

Но недоумение его продолжалось недолго. Большая, темная туча поползла как-то с двух сторон одновременно, и с двух сторон раздался страшный удар грома. Сергей Александрович не слышал этого удара, но воспринял его впечатление. Сверху над башней остановился блестящий зигзаг молнии, и башня, дав трещину сверху донизу, распалась на две стороны, причем распалась не так, как это могло быть на самом деле, но так, как это изображали на театре или рисовали. Так падала она, рассыпаясь целыми камнями, точно они не скреплены были вовсе.

Потом наступил полный мрак, непроглядный и такой безысходный, которому, казалось, конца не было, и тяжелый, мертвый сон задавил Орленева.

Сергей Александрович спал долго и крепко. Разбудил его Гирли, с которым он разговаривал с вечера и которого видел во сне. Орленев с трудом открыл глаза, ощущая еще в себе тревогу беспокойного своего сна. Гирли сидел у него на постели и будил его.

— Вы живы? — спросил Орленев, плохо еще проснувшись и сквозь просонки узнавая старого музыканта.

— Я жив, — ответил тот. — Что за вопрос?

— Ах, я сон видел, всю ночь грезил им! — Орленеву казалось, что он всю ночь грезил этим сном. — Башня была, большая-большая башня, а на ней вы и Потемкин, и вдруг гром, и все погибло, и башня распалась надвое.

Гирли, внимательно смотря на него, спросил:

— Вы знаете, что это значит?

— Что значит?

— А вот этот ваш сон. Бывают, что ни говорите, вещие сны, и тот, который вы видели, один из вещей. Вот уже несколько раз приходилось мне слышать рассказы о подобном

сне. Многие люди видели его, и всегда почти с теми же подробностями, то есть именно разбитой башней. Значит же это вот что: человек идет к своей гибели, которая является плодом его гордости, неосторожности и собственных его ошибок, сделанных им добровольно. Так, люди завидуют, тратят свои силы на глупое и пустое соперничество, которое ни к чему не нужно, потому что не ведет ни к чему. Есть на свете желания неосуществимые, надежды обманчивые и вожделения, ведущие к гибели... И вместо того чтобы тешить себя этими надеждами в дни горя, лучше помнить, что страдать — значит приобретать. Наслаждения рассеивают и несут нищету за собой не только материальную, но и духовную. Всякое горе, принятое с покорностью и безропотно, есть шаг вперед, к вечному благополучию.

Орленев проснулся уже совсем.

— Сколько вы знаете хороших вещей! — сказал он Гирли, окончательно протирая глаза. — Иногда, когда вы вообще говорите так, мне хотелось бы вечно слушать вас.

— Да, но не всегда, к сожалению, я могу

приходить к вам с хорошими вестями, — ответил Гирли.

Орленев вдруг приподнялся с кровати и широко открыл глаза.

— Что случилось? — спросил он.

— Да что вы так испугались? Пугаться вам нечего! Вчера пришло известие, а сегодня я узнал его, что Потемкин скончался.

— Умер? — переспросил Орленев.

— Да, умер, среди степи, по дороге в Николаев.

Весть, пришедшая в Петербург о смерти Потемкина, не была полной неожиданностью, потому что слух о его болезни доходил и раньше. Уехал он 24 июля, а 28 августа прошло уже известие, весьма тревожное, так что графиня Браницкая, племянница светлейшего, выехала к нему.

Орленев, знавший об этом, не обратил должного внимания, потому что всецело был предан своему счастью и своей радости.

Но те же люди, которые, как Гирли, с полной серьезностью и вниманием относились к известиям о болезни Потемкина, были поражены его смертью.

Впечатление в Петербурге прямо было необыкновенно. Императрица до того была огорчена, что это огорчение вызвало серьезное потрясение организма, вследствие чего пришлось бросить ей кровь. Она никуда не показывалась. Приемы во дворце прекратились. Не было эрмитажных собраний, и даже во внутренние покои не приглашалась обыкновенная партия государыни в карты.

Орленев собрал все подробности, какие мог, об этой смерти.

Выехав из Царского Села, Потемкин очень быстро приехал в Яссы. В восемь дней он был уже там.

Чувство недуга, скучная и бедная обстановка города, раздражение, вызванное делами, спутанными во время его отсутствия, — все это вызвало в Потемкине усиленный припадок обычной его меланхолии, когда он затворялся и никто не смел подступиться к нему. К этому времени относится сочинение им канона Спасителю.

Тут, как нарочно, мирные переговоры с турками затянулись и грозили даже прерваться.

Все это раздражало князя. Докторов, которые были с ним, он слушать не хотел, не исполнял их предписаний, много ел, обливал, чувствуя жар в теле, холодной водой себе голову и, переживая крупные волнения, раздражался по пустякам.

Правда, как нарочно, обстоятельства складывались так, что эти пустяки выходили иногда очень досадно.

Так, на похоронах скончавшегося в Галаце принца Вюртембергского, брата великой княгини Марии Федоровны, жены Павла Петровича, когда Потемкин вышел из церкви, по ошибке, вместо того чтобы подать ему карету, подвезли дроги, думая, что выносят покойника.

Однообразие Ясс прискучило наконец светлейшему, и он решил ехать в Николаев. В Яссах пред отъездом он подписал ослабевшей уже рукой последнее свое письмо к императрице, продиктованное секретарю Попову.

Потемкин выехал из Ясс в сопровождении большой свиты, так что поезд его раскинулся на далекое пространство. Сам он ехал в карете. При нем была икона Божией Матери. С

ним ехала графиня Браницкая.

На первой станции, где был назначен ночлег, приготовили было пышную встречу, но из кареты, в которой ехал Потемкин, доносился слабый его голос: «Душно мне, жарко!» Он никого и ничего не хотел видеть.

С места остановки выехали рано утром. Было 5 октября 1791 года.

На тридцать восьмой версте от станции Потемкин приказал остановиться.

— Будет теперь! — сказал он. — Некуда ехать, я умираю. Выньте меня из коляски, я хочу умереть в поле.

Его вынесли на походной постели и положили на траву, устроив тут на ковре ему ложе с кожаной подушкой.

Светлейший ничего не говорил, лежал смиренно и стонал. Так прошло около трех четвертей часа. Потом Потемкин стал отходить, вздохнул три раза и скончался. Один из казаков, ехавший в конвое, положил покойному на глаза два медных пятака, чтобы веки сомкнулись.

Тяжелая картина смерти посреди поля могущественнейшего в России человека была

увековечена таким стихотворением:

«Чей труп, как на распутье мгла,
Лежит на темном лоне ночи?
Простое рубище — чресла,
Две лепты покрывают очи;
Прижаты к хладной груди пер-
сты.
Уста безмолвствуют отверсты!
Чей одр — земля, кров — воздух
синь,
Чертоги — вокруг пустынные виды?
Не ты ли — счастья, славы сын,
Великолепный князь Тавриды?
Не ты ли с высоты честей
Незапно пал среди степей?»

XVII

Восьмиугольная звезда

1

Несмотря на то что началась вторая половина октября, день выдался такой теплый, что Орленев мог надеть легкий плащ, когда отправился вместе с Гирли к балагану, где видел девушку с медальоном на шее, похожим на тот, который служил для Гирли приметой Маргариты.

Ночи и вечера были холодные. Наступали уже заморозки, но в этот день солнце светило ярко и грело пахнувший уже палым листом и осенью воздух.

Сергей Александрович и Гирли пришли на площадь. Балаган стоял на прежнем месте. Было около двенадцати часов дня. До обычного представления оставалось еще часа два.

— Вероятно, они тут и живут, — сказал Гирли, направляясь к части балагана, противоположной входу для публики.

Здесь была сделана пристройка, очевидно

служившая пристанищем для участников представления. Тут было их жилище и вместе с тем уборные.

Пристройка имела всего два маленьких окна, была сколочена на живую руку и видимо представляла собой плохую защиту от холода. Сбоку у нее была прилажена железная труба находившейся внутри печурки.

Но, несмотря на всю шаткость и легкость постройки, это зданьице приобрело уже обжитый вид. Кое-как сколоченные доски успели уже обтереться, и в особенности у двери. Тут же у двери была устроена маленькая скамеечка и столик. Все-таки люди жили.

На скамеечке у столика, пригретая солнышком, сидела худенькая, казавшаяся вблизи еще худее, чем издали, Шарлотта, в холщевом платице, с накинутым на голову и на плечи платком.

— Вот она! — показал Орленев.

Гирли внимательно посмотрел на нее и спросил по-английски:

— Вы та, которая входите в клетку со львом?

Девушка взглянула на него, чувствуя, что

обращаются к ней, но видимо не понимая вопроса. Тогда Гирли спросил то же самое по-немецки. Девушка смотрела на него, не спуская взора, но тоже ничего не ответила.

Гирли еще внимательнее взглянул ей в лицо, как бы желая по чертам ее дознаться, к какой национальности принадлежит она, и наконец решительно спросил по-французски:

— Вы входите в клетку со львом? У вас, говорят, есть очень красивый медальон. Может быть, вы продадите его за хорошие деньги?

Шарлотта вдруг вспыхнула вся и, сделав инстинктивное движение и раскрыв этим платок, взялась за медальон. Он висел у нее на шее. Взялась она за него, точно желая убедиться, тут ли, — непритворный испуг овладел ей, и она слегка отстранилась, точно оробев, что у нее отнимут сейчас ее собственность.

— Не беспокойтесь, мое дитя, мы не сделаем вам зла, — тихо опять сказал Гирли и наклонился, чтобы разглядеть медальон.

Орленев так и впился в него взором. Он видел, что старик заинтересовался сразу медальоном.

«Неужели я попал на след?» — радостно подумал Сергей Александрович.

Шарлотта не изменила своего положения, и выражение испуга, несмотря на обращенные к ней ласковые слова, не сошло с ее лица.

— А можно посмотреть, что там внутри? — продолжал спрашивать Гирли.

Глаза его загорелись, и все лицо стало светлее. Было очень похоже на то, что медальон был именно такой, какого искали они.

Шарлотта вдруг, опустив голову, отвернулась и закрыла платок. Она не только не ответила на вопрос Гирли, но старалась всем показать, что и не желает отвечать и хочет лишь одного, чтобы оставили ее в покое.

— Отчего же вы не отвечаете? Ведь вы понимаете же по-французски, мы видим это! — спросил в свою очередь Орленев.

— Погодите, погодите! Хотите, я вам скажу, что написано внутри этого медальона? — живо остановил его Гирли и обратился снова к Шарлотте.

Девушка вдруг вскочила с своего места и выпрямилась. Неподдельный ужас выражало теперь все ее маленькое и худенькое суще-

СТВО.

Она молчала, но глаза говорили за нее. Она так смотрела теперь на Гирли, как, вероятно, входя в клетку к зверю, смотрела на льва.

Но Гирли не испугался этого ее взгляда.

— Вот что там написано, — твердо и уверенно проговорил он, — «Преодолевай препятствия, сила твоя увеличится. Очисти себя от страстей и ошибок, чтобы найти тайну истины, и ключ ее будет дан тебе. Лучи божественного света явятся тебе из тайного святилища, чтобы рассеять мрак твоего будущего и показать тебе путь к счастью. Никогда, что бы ни случилось в твоей жизни, не оставляй святой надежды, и ты найдешь плоды своей веры». Так ли я говорю, мое дитя?

Шарлотта, как была, снова опустилась на скамейку, положила обе руки с локтями на стол и спрятала в них голову. Лица ее не было видно, но по тому, что все ее тело заколыхалось порывисто, ясно было, что она плакала.

Орленев почти торжествовал. Он был уже почти уверен, судя по поведению Гирли, что они нашли в этой Шарлотте Маргариту, одна-

ко ее слезы не трогали его, потому что он знал, что теперь ее жизнь будет в тысячу раз лучше, чем была до сих пор, и что, если бы она знала это, она не плакала бы, а радовалась.

Но все-таки слезы ее трудно было объяснить. Она плакала не потому, что якобы считала, что ее обидели чужие, неизвестно откуда взявшиеся люди, пристававшие к ней со своими разговорами; нет, видимо было, что весь ее ужас и все горе заключалось именно в том, что Гирли сказал ей, что было написано у нее в медальоне.

Старик угадал, это было видно по этой девушке. Но, если он угадал, значит, медальон был известен ему, то есть он был тот, который они искали.

Но отчего же плакала эта девушка?

Объяснение этому явилось сейчас же.

Когда Шарлотта, или та, которую называли так в балагане, заплакала, в дверях, у которых она была, показалась фигура заспанного человека, выползшего на солнце.

Орленев не столько по лицу, сколько по манере сразу узнал в нем нагримированного негра в зеленой чалме, который вертелся у клетки и дразнил льва во время представления. Теперь он был с чистым, не вымазанным сажей лицом, и на нем была обыкновенная серая немецкая куртка.

— Что такое, что тут такое? — заговорил он грубым французским языком, крайне недружелюбно оглядев Гирли и Орленева и дернув за плечо плачущую девушку.

Она, как кошка, скользнула ему под руку и исчезла внутри балагана.

«Негр» подпер руки в боки и уставился пред собой, как бы спрашивая, что от него хотят, и по-русски попытался проговорить:

— Кто вам нужен?

Гирли стал объяснять ему, что они, заинтересовавшись его представлением, пришли

узнать, нельзя ли поглядеть льва поближе, и что они готовы заплатить ему за это. При этом он вынул серебряный рубль и сунул его в руку человека.

Это сейчас же изменило все. «Негр» из грубого сейчас же сделался вежливым и отрекомендовался, что его зовут Пьер-Баптист Сулье. Он объяснил, что он — родом француз, но бывал во многих странах и вообще артист, а льва видеть пред представлением нельзя, потому что это его может раздражить, но если они пожалуют по окончании зрелища, то он им с удовольствием покажет зверя. Если его раздражить, то мадемуазель Шарлотта не может войти ко льву, и тогда останется неисполненным один из самых интересных номеров программы.

— А кто эта мадемуазель Шарлотта? — спросил Гирли.

— Артистка моей труппы!

— Я знаю это; но откуда она попала к вам?

— Вероятно, вы сейчас спрашивали ее об этом?

— Нет, я спросил ее только про медальон...

— А! — ответил Сулье. — Это важно; ведь

это — ее талисман.

— Как талисман?

— Да. Без него она ни за что не войдет в клетку. Мало того, она даже ни за что не покажет его никому. Попробуйте-ка попросить ее показать, что внутри медальона!

— Мы именно это и спросили у нее.

— Ну вот! Она даже и мне, да и никому на свете не дает его в руки, а не только не показывает, что в нем. Странная и упрямая девочка! Но я знаю ее упрямство и потому должен подчиниться. Она прямо заявила мне, что, если только я или кто-нибудь другой узнает, что у нее в медальоне, она больше ни за что не решится войти к зверю. И не пойдет!

— Ну так она теперь, значит, больше не пойдет уже! — проговорил Гирли.

— Как не пойдет? Отчего? Вы насильно взяли у нее ее медальон? Оттого она и плакала? — вдруг, побагровев почти, крикнул Сулье. — Но ведь это насилие!

— Насилие мы не позволяли себе, — строго и внушительно проговорил Гирли. — Но с сегодняшнего дня Шарлотта не будет входить в

клетку со львом.

В двери за спиной хозяина показалась головка девушки. Очевидно, она стояла за дверью тут же и слышала весь разговор.

— Господин прав, — медленно произнесла она, не без труда выговаривая по-французски, — я больше к зверю не могу идти. Мой талисман раскрыт.

Сулье вдруг забыл о рубле, полученном им, и снова вспыхнул. Очевидно дело шло для него уже не о пустяках, а о целом состоянии, или, по крайней мере, о верном источнике дохода.

— Как? Талисман раскрыт? — крикнул он, обращаясь то к Шарлотте, то к Гирли и Орленеву. — Как, ты не пойдешь к зверю? Я посмотрю, как ты не пойдешь!.. И какой там талисман!.. И зачем вы приходите смущать девушку?.. Что же я теперь буду делать?

— А вот сядемте и поговорим спокойно, — сказал Гирли. — Никто не хочет делать вам зла. Ее медальон я не открывал, но если знаю, что в нем, то по некоторым другим обстоятельствам, совершенно особенным. Однако не в этом дело... Скажите пожалуйста, у этой

девушки есть родители?

Сулье снова разразился рядом грубостей. Он говорил, что не позволит никому мешаться в дела своей труппы, что никому нет дела до происхождения артистов, находящихся у него, и что он просит наконец оставить его в покое.

— У меня сейчас начинается представление, — добавил он, — и я прошу вас удалиться.

— А во сколько вы считаете ваш полный сбор? — спросил Гирли.

Сулье как будто опешил.

— То есть как сбор?

— Да так: сколько представление дает вам выручки, когда все места полны?

— О, при полных местах я получаю тридцать серебряных рублей.

Гирли вынул деньги и, передавая их француз, сказал:

— Вот вам тридцать рублей — отмените на сегодня представление. Надеюсь, вы можете теперь разговаривать со мной?

Снова в Сулье совершилось неожиданное превращение от грубости к заискиванию. Он

стал даже титуловать Гирли князем и теперь не только не отказывался от разговора, но, напротив, предложил сесть, сказав, что вынесет стулья. Гирли просил его не беспокоиться, уверив, что хорошо будет и на скамеечке.

Они сели. Сулье остался стоять пред ними, готовый отвечать на все вопросы.

Из расспросов оказалось, что он был в прежнее время матросом, затем в Индии бежал с корабля, жил там долгое время, научился нескольким фокусам и, когда вернулся в Европу, поступил в труппу странствующих артистов, где была и Шарлотта со львом. Страсть к искусству, как говорил он, влекла его. Дела антрепренера шли плохо. Тогда Сулье решил истратить скопленные в Индии деньги и приобрел от прежнего антрепренера все дело. Откуда сама Шарлотта — он наверное не знает. Говорили ему, что она родом из Индии, но сама она ничего не рассказывает, бережет только свой медальон, в который верит слепо и под охраной которого не боится входить в клетку, хотя это — сущий вздор, потому что тут медальон никакой роли играть не может, а просто лев — ручной и давно при-

вык к ней. Откуда у нее медальон — она тоже не рассказывает.

— Ну вот что, — сказал наконец Гирли, — сколько вы возьмете за то, чтобы освободить девушку навсегда от представлений и оставить ее у меня?

Сулье задумался, а затем вдруг улыбнувшись произнес:

— Это стоит очень много денег.

— Сколько бы это ни стоило, вы скажите только сумму.

— Сумму?.. Это нужно подумать, рассчитать... Я не могу так сразу.

— Я и не требую, — ответил Гирли, — мы можем подождать... Завтра я приду к вам опять, тогда потолкуем обстоятельно...

Когда он и Орленев, решив, что вернутся сюда завтра, отошли от балагана, Сергей Александрович проговорил наконец то, что давно хотел сказать Гирли:

— Итак, Маргарита найдена?

Гирли задумчиво смотрел себе под ноги.

— Как найдена? — переспросил он.

— А эта Шарлотта? Разве это — не она?

— К сожалению, нет! — вздохнул Гирли.

— Как, разве ее медальон — не тот, который вы ищете?

— Нет. Он не имеет ни малейшего сходства с тем медальоном, который я ищу.

— В таком случае зачем же вы приняли такое участие в этой Шарлотте и готовы заплатить за нее деньги этому человеку?

— Потому что медальон, оказавшийся на ней, хотя и не тот, который нужен мне, но это медальон, который ищут давно уже. Это медальон несомненный, с восьмиугольной звездой, одного из великих розенкрейцеров. Надпись, которую я знал наизусть, хранится в нем на виду. Но там есть изречение скрытое, которое является ключом к этой надписи. Этого ключа ищут давно, и наше братство ищет его. Вот отчего я обрадовался, увидев этот медальон, и готов для освобождения девушки заплатить какую угодно сумму, потому что уверен, что ваше братство не будет жалеть денег на это!

Орленев испытал невольное разочарование. Очень уж хотелось ему, чтобы старый Гирли нашел Маргариту!

XVIII

Сомнение

1

Все шло хорошо у Орленева до сих пор. Он ждал лишь окончательного устройства дел для своей свадьбы и каждый день проводил в Таврическом дворце вместе с Идизой.

Был лунный октябрьский вечер, когда он вышел из дворца, закутавшись в плащ. Он только что простился с Идизой, сказав ей, что придет завтра пораньше, и был в самом лучшем расположении духа. Вдруг чья-то рука опустилась ему на плечо. Орленев оглянулся. На крыльце, куда он вышел, стояло четверо солдат, и офицер положил ему руку на плечо.

— Что вам нужно? — вырвалось у Сергея Александровича.

— По приказанию государыни арестовать вас.

— Меня? Орленева? За что? Вы ошибаетесь!

— Нет, именно вас. Из уважения к покой-

ному князю Таврическому я не мог сделать это в самом дворце его и потому ждал, когда вы выйдете.

— Но помилуйте!.. За что?

— Этого я не знаю. Мне велено взять вас — и только.

— Что же, это шутка, может быть?

— Нет, не шутка. Должен предупредить вас, что, если вы будете сопротивляться, я имею приказание пустить в дело силу, и все равно вы будете взяты. Только для вас же будет хуже.

— Я и не думаю сопротивляться, — сказал Орленев, — ведите меня куда знаете. Только можно мне хоть сказать тут, во дворце, что меня арестовывают?

— Мне велено взять вас и немедленно отвезти.

— Куда?

— Увидите! Советую вам только быть послушным, потому что, повторяю, иначе будет вам хуже.

Делать было нечего — приходилось покориться.

Орленев живо перебрал в своих мыслях

все, что он сделал в последнее время такого, за что можно было арестовать его, и ничего не мог найти. Одно, о чем он догадался, и то не соображением, а внутренним, подсказанным ему чувством, что это дело Зубова, не смеявшего тронуть его при жизни светлейшего, а теперь расплачивавшегося с ним.

— Я готов идти за вами! — сказал он офицеру. Его повели к набережной, где ждала лодка, посадили в нее, и тихий всплеск весел зашумел по воде, увозя их в серебряный сумрак лунного света, особенно ясного над гладкой поверхностью, как бы сгустившей от холода воды. Холодный, пронизывающий до костей ветер подымал небольшие волны. Лодка плыла по направлению к крепости.

«Неужели туда, в крепость?» — соображал Сергей Александрович.

Надолго ли? за что? увидит ли он скоро снова Божий свет и Идизу? и что она подумает завтра, когда он не придет к ней?

Все это мучительно проносилось в его мыслях.

— Послушайте, — обратился он к офицеру по-французски, чтобы не поняли сидевшие на

веслах солдаты. — Любили вы когда-нибудь?.. Ну, так если любили, то завтра дайте знать ко мне в дом старику музыканту Гирли, чтобы он передал кому следует, что меня арестовали и что я не могу поэтому прийти завтра.

Офицер ничего не ответил. Он сидел молча, как бы и не слыша слов Орленева.

Сергей Александрович понял, что всякая попытка к разговору будет излишняя, и стал смотреть на берег, к которому приближал их каждый удар весел.

Полная луна стояла как раз над одной из башенок крепости. Внизу на берегу, подняв голову, какая-то собака заливалась лаем, раздававшимся звонко по воде.

Орленев смотрел на нее и то терял ее очертание, которое сливалось с оголенными, темневшими пятнами в виде волка или огромного рака кустами, то снова находил, невольно думая, что, может быть, эта собака — последнее живое существо, которое ему придется видеть на воле!

Его привезли к выходившим на реку воротам, провели через них: дальше он помнил смутно, как и куда его повели. Он опомнился

только в сыром каземате, слегка освещенном пробивавшимися сквозь маленькое оконце лунными лучами.

2

Первый день заключения прошел для Орленева в томительном ожидании. Он все ждал, что вот придут к нему, спросят или поведут его к допросу, и он узнает наконец, за что он взят и посажен. Но никто не приходил, кроме сторожа, приносившего ему воду, хлеб и похлебку.

Сергей Александрович измерил сотни раз маленькое пространство каземата и в один день изучил его во всех подробностях, перечитал все надписи, которыми были испещрены стены — остаток страданий прежде заключенных!

Одна из них особенно запомнилась ему:

«Страх, — написал конечно неизвестный узник, — есть только лень, в которую впадает твоя воля. Опасности приводят в отчаяние лишь слабые существа».

Орленев не был в отчаянии — он чувствовал это. Напротив, он терпеливо, уверенный в

своей невинности, ждал, что будет с ним дальше.

А дальше вот что было с ним. Он провел в каземате семь мучительных дней ожидания. Под конец этого седьмого дня его вывели, провели по коридору, заставили подняться по лестнице и ввели очевидно в дежурную комнату офицера.

Офицер был здесь, однако, не тот, который арестовал Орленева, а другой.

Но здесь был тоже все тот же неизменный, старый Гирли, верный друг Орленева.

— Вы можете разговаривать, но при мне, — сказал им офицер, — разговор ваш не должен касаться дела, по которому арестован заключенный.

Орленев думал, что наконец-то узнает причину своего заключения, а тут выходило, что это было невозможно.

Но Гирли не смутился; он незаметно кивнул Орленеву, подошел к офицеру сзади и протянул над ним руки.

Только что сделал он это, как офицер провел рукой по глазам.

— Спи! — повторил Гирли, и офицер погру-

зился в тяжелый гипнотический сон. Тогда старик обратился к Орленеву: — Ну, теперь мы можем говорить свободно. Вы конечно не знаете, за что вас арестовали?

— Нет, понятия не имею. Но что Идиза?

— Она ждет вас.

— Значит, меня выпустят?

— Да, и скоро. Вы арестованы по проискам Зубова.

«Так и есть!» — подумал Орленев.

— Но за что? — спросил он.

— Якобы за возмущение людей против власти.

— Возмущение людей?

— Да! Помните вашу встречу в этот несчастный день, когда вы везли письмо в Царское?

— Вот оно что!.. Так Зубов из этого сделал целую историю?!

— Да. Но государыня посмотрела на дело иначе. Мне все это объяснил Елагин, выхлопотавший и пропуск сегодня к вам для меня. Вас выпустят на днях. Государыня много сделала в память покойного князя Таврического. За него заплачен долг в семьсот тысяч руб-

лей, счета по турецкой войне все признаны законченными. Про вас государыня прямо сказала, что бывший адъютант светлейшего не может быть возмутителем и вольнодумцем. Она приказала прекратить ваше дело и дать вам отставку.

— Слава Богу! — сказал Орленев.

— Ну, время терять нельзя! Сюда может войти кто-нибудь! — и Гирли, наклонившись над спящим офицером, разбудил его дуновением в лицо, а потом, поговорив о незначительных вещах, ушел.

Сведения, сообщенные ему Елагиным, оказались вполне достоверными. Орленев был выпущен и уволен в отставку.

Это было главное, чего желал он — этой отставки. Он хотел уехать с Идизой в имение и поселиться там навсегда, но по тогдашнему времени служба была обязательной, и отставка давалась, если кто просил, лишь в виде особой милости. Милость эта была дана Орленеву якобы под видом наказания.

XIX

Истина

1

Веселый, довольный и счастливый ехал Орленев в церковь, где должно было совершиться его венчание с милой и любимой Идизой.

Все было отлично и устроилось именно так, как желал он. Могилевское имение было закреплено за ним. Он желал именно туда уехать после свадьбы и теперь имел возможность сделать это благодаря полученной отставке.

Грустно ему было, что он мало кого знал в Петербурге и что свадьбу нельзя сделать многолюдной, но, когда пришлось рассылать приглашительные билеты, их оказалось такое количество, что он даже удивился. Приглашения рассылал он по указанию Гирли, который называл ему лиц, знавших его дядю.

Орленев послал всем, но неизвестно было, все ли соберутся.

О том, что никто не знал его невесты, он не беспокоился. Она становилась его женой, а кто она, откуда — какое кому дело? В приглашении он звал просто на свое бракосочетание, не указывая имени невесты.

Однако теперь, по дороге в церковь, он забыл обо всем: и о приглашении, и о том, все ли съедутся. Он не думал ни о прошедшем, ни о будущем. Одно только настоящее занимало его, потому что это настоящее было лучшей минутой его жизни.

«Да, — думал он, — для этой минуты стоило родиться, стоило и жить!»

Карета подъехала к церкви.

Орленев не мог не заметить, что у паперти стоит целая вереница экипажей, — значит, народа собралось очень много!

И действительно церковь оказалась полнехонька. Видно, дядя его пользовался доброй репутацией, и много лиц любило его и уважало, если съехались почтить свадьбу его племянника. И много было здесь важных лиц в богатых кафтанах, расшитых золотом, и в придворных мундирах.

Как его встретили, как приехала его Идиза,

как они стали со свечами в руках пред аналоем и священник, то оборачиваясь к ним, то снова становясь лицом к алтарю, читал молитвы, а певчие пели, — Орленев не помнил. Все окружающее как бы слилось для него в одно сплошное сияние счастья и блеска, сосредоточением которого была его Идиза, стоявшая рядом с ним, и освещавшая все кругом, и дававшая жизнь всему этому и смысл!

Орленев слышал, как говорили, что обыкновенно невесты кажутся от волнения менее красивыми, что они при этом всегда «дурнеют», но он видел теперь, что это — неправда или она, его Идиза, не могла подурнеть, но она стояла такая прекрасная, светлая и чистая, что лучше этого нельзя было быть.

Их обвенчали, заставили поцеловаться при всех; они за руку подошли к амвону, и начался молебен. Потом все поздравляли их.

Орленев не чувствовал, что он ходит, говорит, стоит или двигается; он точно весь вдруг стал не обыкновенным человеком из плоти и крови, а точно был соткан из воздуха и составлял часть этого воздуха, незримо и неощутительно для себя сливаясь с ним.

Он и Идиза сели в карету, уже вместе, как муж и жена, соединенные теперь законом, чтобы никогда не разлучаться больше.

С каким нетерпением ждал этого дня Сергей Александрович.

Если бы зависело от него, он, кажется, тогда же, на другой день после того, как виделся с Идизой у Гирли, потребовал бы свадьбы. Но нужно было кончить все дела, нужно было устроиться с именем, с отставкой. Орленев не хотел знать эти дела, однако волей-неволей приходилось ему заниматься ими, чтобы свободным и счастливым ехать после свадьбы, оставив Петербург.

И счастье его было так велико, что оно не убавилось, или, вернее, не могло убавиться ни от чего, раз Идиза была с ним и требовала, чтобы это было так.

Во время своего жениховства Орленев каждый день видел ее и с каждым днем, узнавая ее ближе, открывал в ней все новые и новые достоинства. Они часами говорили наедине друг с другом, и часы казались минутами. И все-таки Орленев едва дождался этого дня, дня своей свадьбы.

Теперь ему приходило в голову, не сон ли это? А вдруг он проснется и ничего не будет — ни кареты, ни белого платья его жены, ни самой ее. Но он взглядывал ей в глаза, видел ее улыбку и утешался — она была живая, любимая и любящая тут, близко, возле него; рука ее лежала в его руке, и он мог целовать эту руку.

— Знаешь, Идиза, — проговорил он для того только, чтобы услышать звук его голоса, — знаешь, Идиза, я счастлив!

Когда они были наедине, они давно уже привыкли говорить друг другу «ты».

Дома, при входе, новобрачных по старому обычаю осыпали хмелем, и потом за обедом гости, крича «Горько!», заставляли их целоваться, чтобы подсластить вино.

И все это было хорошо, и весело, и радостно.

Еще утром сегодня из дворца князя Таврического была прислана Орленеву шкатулка, о которой говорил Потемкин и ключ от которой он передал ему. Но утром Сергею Александровичу было не до шкатулки. И потом ключ он куда-то засунул еще тогда же, как получил его, и не мог найти.

«Потом открою!» — решил он и уехал в церковь...

Вернувшись оттуда, он уже ничего не мог сообразить последовательно. Он даже как-то спутал время и то, что было давно, казалось ему недавним и, наоборот, недавнее — давнишним.

Обед продолжался не долго, но прошел весело.

Старик Гирли был в числе гостей. В пер-

вый раз Орленев видел, что он, не пивший вина, выпил целый бокал за здоровье «молодых».

С самого сегодняшнего утра старый Гирли преобразился; для такого привычного к нему человека, как Орленев, не только было заметно, но, несмотря на состояние «не от мира сего», в каком он был, прямо бросилось в глаза особенное, обыкновенно не свойственное старику оживление в глазах его. Глаза его временами вспыхивали так радостно, что видно было, что и он переживает минуты особенного, незнакомого еще и неведомого счастья. Он все время держался в стороне, молча, и или, сосредоточенно и блаженно улыбаясь, смотрел пред собой, или останавливал долгий и как бы очарованный взгляд на Идизе и ее молодом муже.

Когда последний из гостей уехал, Гирли подошел к своей воспитаннице. Она была взволнована. Она все время, на людях, пока были гости, сдерживала себя и старалась быть веселой, но теперь, оставшись среди единственно ей близких во всем мире людей, вскинув свои маленькие ручки на плечи ста-

рика, всхлипывая слезами радости, проговорила: «Дядя Гирли, милый дядя Гирли!» — и прижалась к нему.

Все лицо Гирли дернулось судорогой, и Орленев видел, как у него на глазах показались слезы.

— Вы не оставите нас... ведь вы поедете с нами? — спросила Идиза.

Это был вопрос, который и хотел, и боялся давно предложить Орленев старику. Он боялся, что Гирли ответит отказом.

Но тот, смахнув, стараясь сделать это незаметно, непослушные, слепившие ему глаза слезы, ответил:

— Да, я поеду с вами.

— Чтобы больше не расставаться? — спросил в свою очередь Орленев.

Гирли обнял его и прошептал, обнимая:

— Чтобы больше не расставаться!.. Сегодня я очень счастлив!..

Больше он ничего не сказал и оставил новобранцев под предлогом распоряжений по приготовлению к отъезду, но на самом деле чтобы оставить их одних. Они уезжали на другой день.

— Что это у тебя? — спросила Идиза, входя, как хозяйка, с сознанием своего права в его кабинет и показывая на оставленную им запертой сегодня утром шкатулку, присланную из Таврического дворца.

И то, что она вошла так к нему, и слова, сказанные ей, в особенности слово: «тебя», и то, как она при этом положила ему руку на плечо — все это принесло новый прилив радости и счастья Сергею Александровичу.

— Это по приказанию покойного дяди, — ответил он, — он велел передать мне эту шкатулку в день моей свадьбы.

— И что же там?

— Не знаю. Не смотрел еще!

— Ай-ай, как же ты не посмотрел! Нехорошо!.. Где ключ? — добавила Идиза, рассматривая шкатулку и не находя ключа в ней.

Орленев подошел к бюро. Они вместе долго искали там ключ. Наконец они нашли его; шкатулка была отперта.

— Ну, это деньги какие-то! — сказала Идиза, выбросив из шкатулки пачку банковских

билетов. — Ах, какая прелесть! — тут же воскликнула она, увидев массивной старинной работы медальон. — Этого я ни за что не отдам тебе. Это мой!

Они стали рассматривать медальон, на верхней крышке которого было сделано из бриллиантов чистейшей воды сияние, а внутри заключалась превосходной работы миниатюра, на которой были изображены два державшиеся за руку младенца. Кругом миниатюры эмалью был сделан венок из цветов.

Затем в шкатулке лежали еще несколько драгоценных вещей и наконец письмо, в котором дядя писал, что нарочно оставил предсмертное распоряжение, чтобы шкатулку с деньгами и бриллиантами передали ему, его племяннику, только в день его свадьбы, когда он вступит в новую жизнь, потому что деньги нужны не для себя, а для семьи.

«Ты будешь счастлив, и никто не разрушит твоего счастья, если сумеешь заключить его в супружестве, в тайнике твоего сердца, и жизнь твоя будет светла. Но помни, — написал дядя, — что свет просветляет тех, кто умеет пользоваться им, и ослепляет неразум-

НЫХ».

Отчего был счастлив Гирли

В этот день рано утром Гирли принесли письмо, в котором на месте адреса рукой старика Орленева было написано:

«Передать Гирли в день свадьбы Идизы».

Гирли сейчас же узнал почерк своего благодетеля и наставника, а также символическую печать, которой было запечатано письмо: труба, вызывающая из могилы мужчину, женщину и ребенка.

О письме с такой печатью он не имел права допытываться, кем и каким образом оно доставлено к нему: он должен был принять его и прочесть. Поэтому он раскрыл письмо так, что печать осталась не сломанной (он осторожно обрезал ее), и начал с замиранием сердца читать строки, написанные той же рукой, что и адрес:

*«Любезный брат во братстве!
Тебе было предназначено не быть
усыпленным ленью и забвеньем, у тебя
была задача в жизни, и Промысл от-
крыл тебе ее.»*

Ныне дни испытания твоего кончились и, если ты читаешь это письмо мое, искупление твое совершилось. Так было постановлено братством нашим, руководимым верховной мудростью.

Когда один из братьев нашел тебя и, восстановив твои физические силы, мало-помалу начал развивать силы твоего духа, ты рассказал ему все, что случилось с тобой. Тогда же верховным советом братства было постановлено подвергнуть тебя испытаниям, обычным для поступления в нашу среду. Ты выдержал их, поставив целью своей жизни посвятить себя тому ребенку, который оставался жив после гибели своих несчастных родителей. Этот ребенок был тогда же, по свежим следам, отыскан одним из посланных нарочно для сего братьев и перевезен и отдан на мое попечение в далекой от его родины России. Это было скрыто от тебя, потому что главнейшее испытание твое должно было состоять в желании найти и сделать добро существу, оставшемуся беспомощным по высшей воле, непостижи-

мо соединившей здесь и твою судьбу. Ребенок рос и воспитывался под моим попечением.

Затем определением братьев ты был прислан ко мне для наставления и наблюдения за тобой. Я видел твое искреннее, горячее желание найти ребенка, невольно из-за тебя попавшего в беду, видел твои усилия к этому, видел, что все помыслы твои направлены к одному, что ты истинно хочешь искупления, но, не имея дозволения, не имел права открыть тебе ту, которую искал ты.

Наконец мне было разрешено приставить тебя к ней, но не открывая тебе, кто она. Я назвал ее Идизой (она была крещена этим именем в России и под ним значится в официальных своих документах) и рассказал тебе вымышленную о ней историю, вынуждавшую тебя хранить тайну ее рождения. На самом деле она — не то, что ты видел в ней, а именно та, которую искал ты. И, проведя в искании ее долгие годы, ты был все время около нее, ты заботился о ней, и, могу засвидетельствовать, редкий отец мог положить в

эти заботы столько теплоты и любви, сколько ты клал в них. Твоя Идиза — твоя Маргарита.

Когда в последний год явилась в Петербург авантюристка, принявшая имя Маргариты Дюваль (она, сама того не зная, была направлена сюда братьями), я спрашивал разрешения открыть тебе истину, но не получил его! Только в день свадьбы Идизы ты должен был узнать, что выполнил, сам того не подозревая, возложенную на тебя судьбой задачу. Французенка авантюристка была направлена сюда, чтобы ты видел противоположность между охраненной тобой добродетелью и необузданным, отданным на произвол порока существом. Из аналогии противоположностей истекает истина. Ты должен был вернуть на истинный путь правды несчастную, заблудшую женщину, которую тайно, без ее ведома, братья поручили тебе под видом той, о которой заботиться ты положил себе. Победив порочные стороны души ее, ты охватил мир материй; мир разума дан был тебе в постановлении моего племянника и мир выс-

ший — в чистоте и непорочности возлюбленной тобой Идизы. Эти три мира — суть всего существа. Кто знает, тот понимает это.

Всякая воля, противящаяся божественному велению, осуждена предвечным разумом».

Дальше шла надпись.

Гирли прочел письмо, сложил его, спрятав на груди у себя, и, опустившись на колена пред висевшим у него над кроватью Распятием, долго-долго молился, не вставая с колен.

XXI

Заключение

Прошли года. Люди, жившие когда-то, отошли в лучший мир, но память о многих из них сохранилась. В родовом имении Орленевых, в Могилевской губернии, живы еще воспоминания о лицах, действовавших в только что рассказанной истории.

Сергей Александрович Орленев жил с женой безвыездно в имении, но это не мешало съезжаться к нему многим. Во время долгого его житья у себя в имении приезжали к нему и из России, и из-за границы, иногда по одному, иногда по несколько человек разом.

Не было ни соседа, ни дворового мужика, который мог бы сказать про Орленева что-нибудь дурное или про жену его. Лучшей памяти не оставлял ни один человек еще.

До сих пор еще в имении сохраняется одна комната в верхнем этаже левого флигеля большого дома. Комната эта — продолговатая, с закруглением на восток, где окна между колоннами. На потолке нарисован большой

венок из роз с семью звездами, помещенный в четырехугольник, по углам которого головы льва, тельца, человека и орла.

На стене в рамке висит написанный разными красками латинский текст:

«Власть над миром принадлежит власти света, власть света есть сила воли. По мере усовершенствования воли человек начинает все видеть, то есть познавать в беспредельном круге могущества человека. Но это могущество может быть дано только тому, кто не оскверняет его!»

В одной из гостиных висят портреты Орленева и его жены. Последний свидетельствует о действительно редкой красоте ее.

Портрета старого Гирли не осталось, но существуют еще в Орленевке клавишины, на которых играл он там, и ноты с записанными его рукой словами немецких стихов:

*«Жизнь с своими испытаньями.
Бесчисленными испытаньями.
Дана нам Промыслом,
Чтобы развить нашу волю.
Человек, лишенный воли.*

Человек бездеятельный
Так же к погибели близок.
Как близок к ней злодей!»

Note1

ЩегольXVIII в. (Здесь и далее примеч. автора.)

[^^^]

Note2

Знаменитая французская гадалка.

[^^^]